ПАВЕЛ НИЛИН

Annotation

П.Ф.Нилин (1908–1981) известный советский писатель, лауреат Государственной премии СССР. Не затихает живой читательский интерес к повестям «Жестокость» и «Испытательный срок» о молодых сотрудниках уголовного розыска в первые годы Советской власти. Из рассказа в рассказ движется постоянный герой писателя Нилина; человек труда, человек из народа.

В повести «Жестокость» человеколюбивый принцип молодого уполномоченного Веньки Малышева сталкивается со стеной жестокости, железной уверенностью его коллег в том, что именно непримиримостью и беспощадностью к врагу доказывается преданность новой власти.

- Павел Нилин
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23

- notes
  - 1

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru
Все книги автора
Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Павел Нилин
Жестокость

1

Мне запомнился Узелков именно таким, каким увидели мы его впервые у нас в дежурке.

Маленький, щуплый, в серой заячьей папахе, в пестрой собачьей дохе, с брезентовым портфелем под мышкой, он неожиданно пришел к нам в уголовный розыск в середине дня, предъявил удостоверение собственного корреспондента губернской газеты и не попросил, а, похоже, потребовал интересных сведений. Он так и сказал – интересных.

Происшествия, предложенные его вниманию, не понравились ему.

– Ну что это – кражи! Вы мне дайте, пожалуйста, что-нибудь такое…

И он щелкнул языком, чтобы нам сразу стало ясно, какие происшествия ему требуются.

Я подумал тогда, что ему интересно будет узнать про аферистов, про разных фармазонщиков, шулеров и трилистников, и сейчас же достал из шкафа альбом со снимками. Но он на снимки даже не взглянул, сказал небрежно:

– Я, было бы вам известно, не Цезарь Ломброзо. Меня физиономии абсолютно не интересуют.

И как-то смешно пошевелил ушами.

А надо сказать – у него были большие, оттопыренные, так называемые музыкальные уши. И потом мы заметили: всякий раз, когда он нервничал или обижался, они шевелились сами собой, будто случайно приспособленные к его узкой, птичьей голове, оснащенной мясистым носом.

Нос такой мог бы украсить лицо мыслителя или полководца. Но Узелкова он только унижал. И, может быть, Узелков это чувствовал. Он чувствовал, может быть, что нос его, и уши, и вся тщедушная фигурка смешат людей или настраивают на этакий насмешливый лад. И поэтому сам старался показать людям свое насмешливое к ним отношение.

Я давно заметил, что излишне важничают, задаются и без видимой причины ведут себя вызывающе и дерзко чаще всего люди, огорченные собственной неполноценностью.

Не берусь, однако, утверждать, что Узелков принадлежал именно к этой категории людей.

Не хочу также сгущать краски в его изображении, чтобы никто не подумал, будто я стремлюсь теперь, по прошествии многих лет, свести с

ним давние личные счеты. Нет, я хотел бы в меру своих способностей все изобразить точно так, как было на самом деле. И если я начал эту историю с Узелкова, со дня его появления в нашей дежурке, то единственно потому, что главное, о чем я хочу рассказать, произошло именно после его приезда.

Хотя, конечно, в первый день никто ничего не мог предугадать.

Узелков, нервически подергивая плечами, ходил по нашей дежурке, трубно сморкался в широко раскрытый на ладонях носовой платок и говорил:

– Вы мне дайте, пожалуйста, что-нибудь такое фундаментальное. А уж дальше я сам разовью. Мне хотелось бы успеть сделать еще сегодня что-нибудь незаурядно оригинальное для воскресного номера. Что-нибудь такое, понимаете, экстравагантное!..

– Хотите, я вам про знахарок подберу материал? – предложил Коля Соловьев. – Знахарки тут шибко уродуют народ. Надо бы их осветить пошире и как следует продернуть в газетке…

– О знахарках я уже писал из Куломинского уезда, – сказал Узелков. – И это, собственно говоря, не мой жанр. Я, к вашему сведению, не рабкор и не селькор и никого не продергиваю. Я осмысливаю исключительно крупные события и факты. В этом и состоит цель моего приезда…

– Ага, – догадался Венька Малышев. – Я знаю, чего вам надо. Я сейчас принесу…

Всем нам хотелось угодить представителю губернской газеты, впервые заехавшему в эти места, в этот уездный город Дудари, расположенный, как было сказано в старом путеводителе, среди живописной природы, но малодоступный для туризма из-за сложности передвижения по сибирским дорогам.

Из губернского центра в Дудари надо было или плыть на пароходе, или ехать поездом да еще пробираться по тракту на лошадях – в общей сложности не меньше пяти суток.

Не всякий без крайней нужды мог решиться на этакую дальнюю поездку, зная к тому же наверное, что в пути на него в любой час могут напасть бандиты.

Бандитов в начале двадцатых годов было еще очень много в этих местах.

Даже генералы действовали среди бандитов – белые генералы, потерпевшие полное крушение в гражданской войне.

Впрочем, в бандах Дударинского уезда генералов и полковников уже не осталось. Их сильно потрепал особый отряд ОГПУ, продвинувшийся теперь дальше – в сторону побережья Великого, или Тихого океана.

А вокруг Дударей действовали, как считалось после крупных операций, ослабленные банды. Но ослаблены они были не настолько, чтобы можно было писать в сводках: «Ночь прошла спокойно». Нет, спокойных ночей еще не было в Дударинском уезде. И спокойные дни выпадали редко.

Бандами еще кишмя кишела вся тайга вокруг Дударей. Они убивали сельских активистов, нападали на кооперативы, грабили на дорогах и старались использовать любой случай, чтобы возбудить в населении недовольство новой властью, посеять смуту среди крестьян и завербовать таким способом в свои полчища побольше соучастников.

Продвигаться по дорогам было крайне опасно.

Поэтому всякий рискнувший приехать сюда был немножко и героем. Встречали мы приезжих с неизменным радушием.

А собственный корреспондент мог рассчитывать на особенно радушный прием.

Правда, он приехал к нам в пору некоторого временного, что ли, затишья.

Была зима. Даже один из самых отчаянных бандитских атаманов, знаменитый Костя Воронцов, кулацкий сын и бывший колчаковский поручик, объявивший себя «императором всея тайги», зимой уводил свои банды в глубину лесов, зарывался в снега, прекращая на время, до весны, все убийства, грабежи и поджоги.

Зимой ему опаснее было действовать, чем весной и летом, когда в густой траве среди бурелома пропадают не только человечьи, но и конские следы.

Зимой уходили подальше от городов и сел и такие атаманы, как Злотников, Клочков, Векшегонов.

В городах в это зимнее время озоровали чаще мелкие шайки и одиночки, так называемые щипачи, а также разные домушники, скокари, очкарики, фармазоны, прихватчики и тому подобная шпана.

Зимой нам работать было нелегко, но все-таки немного легче, чем весной и летом. Зимой мы готовились к весне, устанавливали новые агентурные связи и между делом составляли подробную опись наиболее выдающихся происшествий, представляющих, как любил цветисто выражаться наш начальник, известный интерес для криминалистической науки.

Вениамин Малышев как помощник начальника по секретно-оперативной части правильно сообразил, что корреспонденту будет интересно заглянуть в эту опись. Малышев принес и разложил перед ним

два рукописных журнала, полных снимков и схем. Но тот даже перелистывать их не стал, хмыкнул носом и усмехнулся:

– Вы учтите, пожалуйста, что я не историк. Вы мне постарайтесь дать что-нибудь посвежее, что-нибудь, понимаете, такое…

И опять он щелкнул языком.

Это щелканье нам сразу не понравилось. Но в первый раз мы промолчали. А во второй Венька Малышев сказал:

– Слушайте. Вы что думаете, тут каждый день людей убивают? Мы-то, как вы считаете, для чего здесь находимся?

– Я не знаю, зачем вы здесь находитесь, – опять усмехнулся, хмыкнув носом, собственный корреспондент. – Но я лично приехал сюда, чтобы в художественной форме осмысливать наиболее свежие и по возможности увлекательные факты. Я должен, к сожалению, заботиться в первую очередь о читателе. Читатель ждет главным образом свежих фактов…

Эти слова нам тоже не понравились.

Лет корреспонденту на взгляд было не больше, чем нам, – примерно семнадцать, от силы девятнадцать. И это показалось нам особенно обидным. Чего он из себя выламывает?

А он держался в своей собачьей дохе и в заячьей папахе так независимо и с таким важным видом расстегивал и застегивал брезентовый портфель, что в первый день мы даже не решились поставить его на место.

На следующий день он опять пришел. Опять придирчиво рылся в сводках, недовольно морщился, записывая что-то в блокнот, грыз карандаш и тихонько вздыхал. И во вздохах его угадывалась какая-то давняя печаль. Она отражалась и в его круглых, галочьих глазах, изредка слезившихся то ли от мороза, то ли от резкого света, то ли еще от чего.

Некоторые происшествия ему все же понравились. Довольный, он извлек из портфеля десяток папирос, завернутых в газетную бумагу, и угостил нас всех.

И даже вору, сидевшему тут, в дежурке, в ожидании своей участи, тоже дал папироску.

Затем, поговорив с нами полчаса, он объяснил, между прочим, что, хотя его фамилия Узелков и зовут его просто Яков, в газете он подписывается «Якуз», спросил зачем-то, партийные ли мы, и стал ходить к нам в уголовный розыск почти каждый день.

В уголовном розыске у нас были строгие правила, по которым полагалось, например, встречать отменно вежливо всякого посетителя, будь он вор или свидетель, все равно. Но, несмотря на то что эти правила никогда не нарушались, посетители все-таки часто робели в нашем

учреждении. И нам это казалось естественным. Я больше скажу. Мы сами побаивались своего учреждения, потому что здесь никто ни на какую поблажку рассчитывать не мог. Ошибся, превысил власть, нарушил дисциплину – и пожалуйста, садись за решетку.

Начальник наш, бывший цирковой артист, потерявший на гражданской войне два ребра, три пальца левой руки и волей случая заброшенный в Сибирь, безумно любил тишину и постоянно повторял по любому поводу:

– Власть чего от нас требует? Власть требует от нас внимания. Мы где работаем? Мы работаем в органах. В каких органах? В органах Советской власти. Значит, что? Значит, должно быть все как следует…

И еще он говорил нам:

– Глупость, имейте в виду, самая дорогая вещь на свете. Это каждый пусть про себя подумает, почему я так говорю. Я всего вам в головы ваши молодые вложить не в силах. Каждый должен про себя думать. Отдельно. А поэтому надо, чтобы было тихо. – И, осмотрев нас сурово и внимательно поверх выпуклых очков в роговой оправе, спрашивал: – Кажется, всем все ясно?

Большинство работников нашего учреждения составляли молодые люди. И начальник, проживший длинную и пеструю жизнь, считал своим непременным долгом по-учительски настойчиво и чуть сердито воспитывать нас.

Полагая глупость тягчайшим пороком и предостерегая нас от страшных и губительных ее последствий, он не жалел и себя, утверждая, что ребра и пальцы потерял на войне по причине этой самой глупости:

– Заспешил я. Хотел, представьте себе, быть умнее всех. А это тоже не очень-то требуется. Поспешность, представьте себе, не всегда нужна даже при поимке блох и тушении пожара. Во всяком деле и во всяком случае должен быть свой обязательный порядок.

Главным же признаком порядка – еще раз сказать – он считал тишину. И поэтому особенно тихо было в полутемном узком коридоре, который уходил в глубину здания и заканчивался в кабинете начальника, в просторной комнате, поделенной на две части – на приемную и кабинет.

По коридору этому, по толстым дорожкам, поглощавшим шум шагов, мы сами ходили с опаской, проникнутые уважением к выдающейся личности нашего начальника и к собственным немаловажным занятиям.

А этот Якуз, или Яков Узелков, не проявлял никакой робости. Он приходил в уголовный розыск как к себе домой, раздевался в служебном гардеробе, вешал на крюк собачью доху, долго и удивительно громко сморкался и, оставив при себе только портфель и заячью папаху, первым

делом шел в дежурку, где топилась железная печка.

В коридоре на зеленой садовой скамейке с выгнутыми чугунными лапами сидели по утрам, пригорюнившись, как на приеме у зубного врача, свидетели и воры в ожидании вызова на допрос.

Погревшись у печки, Узелков выходил в коридор и подолгу беседовал с ворами и свидетелями, что правилами нашими строжайше запрещалось. Но что для Узелкова наши правила! Он рассказывал, что в губернском розыске, который, понятно, намного покрупнее нашего и где он часто бывал, правила куда попроще.

Он вообще любил подчеркнуть, что ему все доступно, и запросто упоминал фамилии таких работников губрозыска, как, например, Жур и Воробейчик, которых мы никогда не видели, но о которых слышали много достойного удивления. Он даже намекал на свою дружбу с ними, во что мы никак не могли поверить. Вернее, не хотели поверить.

Впрочем, Узелков и не старался убедить нас. Он всегда разговаривал с нами чуть небрежно, чуть иронически. И, разговаривая, смотрел в сторону.

Увидев в дежурке толстого мешочника, задержанного по подозрению в краже, он вдруг говорил задумчиво:

– Этот румяный мужчина мне поразительно напоминает Гаргантюа.

Я спрашивал:

– Это кто – Гаргантюа?

– Не знаешь? – удивлялся он и притворно вздыхал. – Хотя откуда тебе знать… У Франсуа Рабле есть такая книга…

Мы, конечно, не знали тогда, кто такой Франсуа Рабле. Спрашивать же у Якова Узелкова после его притворных вздохов считали неудобным. А он все чаще и чаще унижал нас своим удивительным, как нам казалось тогда, образованием.

Иногда он приходил очень рано, когда сводка не была еще отпечатана на пишущей машинке, и Венька Малышев сам выискивал для него происшествия. Венька брал у дежурного по уезду тяжелую, как Библия, книгу и говорил Узелкову:

– Ну, пиши: «Банда вооруженных налетчиков в количестве восьми человек, уходя от преследования, совершила налет на общество потребителей в деревне Веселая Подорвиха около девяти часов вечера…»

Узелков нервически вздергивал плечами:

– Ты не диктуй мне. Я не в школе. Ты говори мне самую суть. Я без тебя запишу.

Венька говорил ему самую суть. Узелков записывал очень быстро. И нам казалось, что самую суть-то он как раз и не успеет записать.

Впоследствии наши опасения неоднократно подтверждались. В газете обыкновенный факт из дежурной книги часто искажался до такой степени, что узнать его не было никакой возможности.

Узелков писал в газете примерно так: «Среди ночи сторож потребиловки услышал подозрительный шорох. Ночь была мглистая, небо заволакивали черные тучи, и силуэты всадников причудливо рисовались на фоне бархатисто-темного неба…»

Я скрывать не стану – мне нравилось в те времена, как писал Якуз. Слова его нравились. Но мне неприятно было, что он пишет неправду. Всадников не было, туч тоже не было. Были пешие бандиты и сторож, но он спал.

Венька Малышев, Коля Соловьев и другие ребята тоже сердились на Узелкова.

Узелков, однако, держался невозмутимо. По-прежнему требовал свежих происшествий.

И вскоре ему сильно повезло.

2

В полдень, в страшную метель, или, лучше сказать, в пургу, начавшуюся еще с вечера, к нам приехал весь облепленный снегом старший милиционер Семен Воробьев и сообщил новость:

– Из тайги на тракт вышла банда Клочкова.

Вот уж чего никто не ожидал в зимнее время!

У Маревой заимки, между Буером и Ревякой, где раздваивается Утуликский тракт, банда вечером устроила засаду, убила трех кооператоров, обобрала несколько крестьянских подвод и, несмотря на пургу, продвинулась дальше – в Золотую Падь.

– Тут уж я сразу к вам поехал, – докладывал старший милиционер Воробьев, спокойно расчесывая крупным гребнем мокрые редкие и длинные, как у священника, волосы. – Прямо немедленно поехал.

– А где же ты раньше-то был? – исподлобья взглянул на Воробьева наш начальник, словно стараясь боднуть его лобастой головой, поросшей серым жестким волосом, подстриженным «под бобрик».

– Где я раньше-то был? – переспросил Воробьев, глядясь в настенное зеркало в кабинете начальника. – Ну как где? Обыкновенно, по своему участку ездил. Участок-то какой! Лектор на днях говорил, две этих самых… две Швейцарии вроде того что могут разместиться. И на каждом шагу или эти бандиты, или опять же самогонщики. А я один на весь участок. И я ведь, между прочим, не стоголовый…

– Все ясно, – определил начальник, заправляя за уши оглобельки очков. И, уже не слушая Воробьева, снял со стены оперативную карту. – Клочков, значит, надеется на метель: она, мол, заметет все следы. Но это же глупость… Малышев, слушай… Я через сорок минут буду здесь, – показал он пальцем на карте. – Ты с группой должен подъехать сюда. – Он стал как бы ввинчивать палец в карту. – И без моих указаний никого ни при каких обстоятельствах не трогай. Отсюда, – он передвинул палец, – я попрошу курсантов с повторкурсов поддержать нас. Главное сейчас – не выпустить Клочкова из Золотой Пади. Реально?

– По-моему…

– Я тебя не спрашиваю, как по-твоему, – оборвал Веньку начальник. – Как по делу, будет реально?

– Реально, – кивнул Венька.

– Ну, действуй! – приказал начальник. – И держи в уме одно: никаких

самоуправств! Если банда будет отходить, проследишь путь ее отхода. Вот так будет правильно…

Эта операция закончилась в тот же день к вечеру.

Я вступил в ночное дежурство по уезду, когда из Золотой Пади привезли семь арестованных и восемь убитых бандитов.

В числе убитых были атаман банды, бывший колчаковский штабс-капитан Евлампий Клочков и его пятнадцатилетний адъютант Зубок, которого Клочков, говорят, еще совсем маленьким подобрал где-то на дорогах гражданской войны.

Убитых свалили до выяснения личности прямо в снег во дворе уголовного розыска, и они лежали в темноте, как бревна, у каменного сарая с решетчатыми окнами.

Я вышел во двор с фонарем «летучая мышь».

Венька Малышев долго рассматривал убитых. В большом, накинутом на плечи тулупе, в монгольской шапке на лисьем меху, он походил в этот момент на ночного сторожа и, как ночной сторож, медленно передвигался по двору, будто у него зазябли ноги.

Я спросил, как прошла операция.

– Глупо, – сказал Венька и кивнул на убитых. – Ты смотри, что наделал этот наш припадочный – Иосиф Голубчик…

Я знал, что Венька не любит Голубчика. Но сейчас мне было все-таки непонятно, почему он сердится. Я еще спросил удивленно, приподняв фонарь над убитыми:

– Это что, разве Голубчик их наколотил?

– Да нет, – сказал Венька. – Клочкова, вот этого, Коля Соловьев срезал. Этого вот, – он тронул труп ногой, – кажется, я. А этих – курсанты с повторкурсов…

– А Голубчик?

Венька ничего не ответил, наклонившись над трупом Зубка.

Зубок лежал на снегу в красивой черной бекеше, отороченной серым каракулем, в расшитых унтах, без шапки, беловолосый, аккуратно причесанный на пробор.

Видно было, что шапка, теперь потерянная, приминала прическу до последней минуты жизни, и поэтому прическа осталась нерастрепанной на застывшей навсегда голове.

– Ты смотри, куда он ему попал, – расстегнул на мертвом бекешу Венька. – Прямо в самое сердце. Вот свинья худая! Ну кто его просил убивать мальчишку? Только бы ему порисоваться перед начальником,

показать свое геройство. Он, припадочный, кого угодно из-за этого убьет. Хоть отца родного. Лишь бы начальник похвалил его за храбрость. Все время на глаза к начальнику лезет. Глядите, мол, какой я герой!..

Я понял, что это Голубчик убил Зубка. Но я не мог разделить возмущения Веньки.

– Тут же не разберешь, в такой горячке, кого убить, кого оставить, – сказал я. – Если ты не убьешь, тебя убьют…

– Ерунда, – взял у меня фонарь Венька. – Зубка мы свободно могли живьем захватить. Ты помнишь, как осенью на лесозаводе было? Я же его тогда почти поймал на крыше. Даже карабин у него из рук выбил. Деваться ему просто некуда было. Никто бы не поверил, что он спрыгнет с крыши, прямо со второго этажа. А он даже не задумался – спрыгнул. Очень храбрый мальчишка. Если б не опилки внизу, он бы насмерть разбился. А он ничего, побежал. Я его тогда хорошо видел с крыши, как он бежал по двору. Только прихрамывать стал…

– Все-таки он был уже конченый, если связался с бандитами, – сказал я, чтобы Венька не горевал об убитом. – Клочков же, понятно, имел на него большое влияние…

– Клочков – это дерьмо, – покосился Венька на труп Клочкова. – Клочков мог из него только бандита сделать, а мы бы сделали хорошего парня. Просто мирового парня сделали бы…

– Не думаю, – сказал я.

– Ты что, глупый; что ли? – вдруг как бы удивился Венька, поглядев на меня. И еще что-то хотел сказать, но из здания на крыльцо вышел Иосиф Голубчик.

Длинный, худой, чуть сутулый, в кожаной не по росту короткой тужурке, с короткими рукавами, он шел по снегу в нашу сторону и похлопывал плеткой по сапогам.

За ним продвигался, распахнув, как крылья, собачью доху, маленький Яков Узелков с блокнотом и карандашом, почему-то зажатым в зубах.

– Любуетесь? – спросил нас Голубчик, и даже в темноте было заметно, что он ухмыльнулся.

Мы промолчали.

Узелков вынул изо рта карандаш.

– Покажите мне, который Клочков.

Иосиф Голубчик взял у Веньки фонарь и осветил необыкновенно грузный труп Клочкова.

– Говорят, не все лошади его выдерживали, – засмеялся Голубчик. – У него особая лошадь была. Здоровенная! Как битюг. Жалко, ее убили. Она

там и осталась, в Золотой Пади…

– А который его адъютант? – спросил Узелков.

– Вот он, – осветил Зубка Голубчик.

– Это, значит, твоя работа? – оглянулся на него Узелков и снова взял карандаш в зубы.

– Моя. – Голубчик опять засмеялся.

А Венька Малышев стоял в стороне, как замерзший.

Я подумал: вот сейчас что-нибудь случится. Вот сейчас Венька скажет что-нибудь Голубчику, и между ними вспыхнет ссора. Но подле нас неожиданно появился из темноты наш фельдшер Поляков.

– А я тебя ищу, – потянул он Веньку за тулуп. – Пойдем, я тебе переменю повязку…

Только тут я узнал, что Венька ранен. Вот, оказывается, почему он надел тулуп внакидку.

– И сильно тебя стукнули? В какое место?

– Да ерунда! – поморщился Венька. – Плечо немножко ободрало около шеи.

– Хорошенькое немножко! – сказал Поляков. – Крови сколько вытекло, пока сделали перевязку.

Венька пошел за Поляковым в нашу крошечную, рядом с баней, амбулаторию, которую мы называли «предбанником».

– Вениамин! – закричал Узелков. – Я потом должен с тобой поговорить. Мне очень важно выяснить некоторые подробности. Ты мне должен объяснить подробно…

– Ты и сам хорошо придумаешь, – слабо улыбнулся Венька. – Тебя учить не надо.

В коридоре на зеленой садовой скамейке под охраной милиционеров сидели семь арестованных – семь косматых, давно не бритых и не стриженных мужиков в нагольных полушубках и огромных, еще обледеневших броднях, какие носили в старое время водовозы.

Я стал вызывать их в дежурку по очереди, чтобы произвести предварительный допрос. На специальных бланках я записывал их фамилии, имена и отчества, возраст, национальность, место рождения и все, что положено записывать в таких случаях.

Они охотно отвечали на вопросы, просили закурить и, закурив, благодатно почесывались, распространяя по всей дежурке и коридору удушливый запах плохо дубленной и мокрой от снега овчины.

Еще несколько часов назад представлявшие отупело грозную и беспощадную силу, они походили сейчас, пожалуй, на усталых ямщиков,

готовящихся к ночлегу где-нибудь на близком к тракту постоялом дворе. Поэтому я не испытывал к ним никакой враждебности.

Только один раз я вышел из себя – когда в дежурку ввели пожилого, но с виду все еще могучего мужика, буйно заросшего рыжей щетиной, из которой высовывался вздернутый нос с нервно трепещущими ноздрями и светились яростью небольшие, прищуренные, медвежьи глаза.

– Фамилия?

– Чего?

– Фамилия как твоя?

– Это для чего?

– Ты мне не задавай тут вопросов! – строго сказал я. – Теперь уж мы тебе будем задавать вопросы. Садись.

– Сяду.

Он уселся так, что венский стул заскрипел под ним.

– Так как твоя фамилия?

– Моя-то?

– Твоя. Ты дурака тут не разыгрывай, – предупредил я. – Мы быстро из тебя всю твою бандитскую дурь вытрясем.

– Гляди-кось, какой герой! – хрипло, простуженно засмеялся и закашлялся рыжий. Потом сплюнул на пол и прикрыл плевок броднем. – Материно молоко у тебя на губах еще не обсохло, губошлеп ушастый, а ты туда же – грозишься. А вдруг я, – он кивнул на чугунную пепельницу, стоявшую на столе, – вдруг я возьму энту вот вещь да шаркну тебя по башке? Что тогда? Какой будет разговор?

Я отодвинул пепельницу к себе под локоть.

– Оберегаешься? – опять хрипло засмеялся рыжий. – Ну, это не худо. Береженого сам бог бережет.

Я встал из-за стола.

– Ты будешь говорить фамилию?

– А ты что, вроде испугать меня хочешь? – насмешливо спросил рыжий и тоже встал. – Ну-ка, испугай! Я погляжу, как ты умеешь…

Из соседней комнаты вышел Коля Соловьев. У него после операции в Золотой Пади разболелись зубы и чуть вспухла щека. Но он не уходил домой, потому что начальник хотел еще сегодня провести подробный разбор операции и всем велел остаться.

– Ты чего, рыжий, шеперишься? – заговорил Коля тихим, домашним голосом. – Тебя, как путного, развязали, а ты шеперишься.

– Он завидует своему атаману, – кивнул я на окна. – Торопится на тот свет, на Хрустяковское кладбище, поближе к богу…

– Щенки! – обвел нас ненавидящим взором рыжий. – Платит вам казна жалованье, а вы ну в точности щенки!

И, опять усевшись на стул, закрыл глаза: не желаю, мол, я не только разговаривать с вами, но и смотреть на вас не желаю.

Венька Малышев заглянул в дежурку, спросил меня:

– Начальник не звонил?

– Нет еще.

– Ты этих где размещаешь?

– В восьмой.

– Она пустая?

– Пустая.

Венька вошел в дежурку и сел недалеко от рыжего на лавку.

– Ну что, кум, о чем вдруг опять заскучал, задумался?

Рыжий поднял на него глаза: посмотрел с хмурым любопытством, будто стараясь узнать знакомого, и снова опустил голову.

В дежурку вошел начальник. Обутый в толстые, мохнатые унты выше колен, он неслышно прошагал по комнате, снял с гвоздя в застекленном ящике ключ от своего кабинета и сказал Малышеву и Соловьеву:

– Вы давайте заканчивайте это и пожалуйста ко мне. Будет разговор. Надо вызвать еще Голубчика и Бегунка…

На арестованного он даже не взглянул, и было непонятно, что значит «заканчивайте это».

У дверей начальник задержался.

– Малышев, как у тебя с плечом?

– Все хорошо, товарищ начальник, – чуть привстал со стула Венька.

Но я, поглядев на него, понял, что все не так уж хорошо. Лицо у Веньки как-то вытянулось, посинело, и особенно сгустилась синева под глазами.

– А ты что за скулу держишься? – повернулся начальник к Соловьеву.

– Зубы маленько заныли, – попробовал улыбнуться Коля.

– Просто лазарет какой-то. – Начальник сделал недовольное лицо и только теперь взглянул на арестованного. – А этот зачем тут?

– Да вот не хочет отвечать на вопросы, – доложил я. – Даже фамилию не говорит…

– Забыл, выходит, с испугу? – Начальник шагнул к арестованному и вдруг как рявкнул: – Встать!

Арестованный не пошевелился.

– Кому говорят? Встать! – повторил начальник. – Ну!

Арестованный поднял голову, и глаза его снова засверкали

бешенством.

– Гляди-кось, какой боров. Ты меня сперва накорми, потом запряги, а уж опосля понукай. Ну! – передразнил рыжий начальника.

– В угловую его, отдельно, – приказал мне начальник. – И не кормить, пока не вспомнит фамилию и все прочее…

Начальник ушел и хлопнул дверью так, что она заныла на пружине.

– Ты бы правда встал, – как бы посоветовал арестованному Венька. – Ты же не дурак, а это начальник.

– Это он вам, легавым, начальник, – пошевелил бородой рыжий. – А мне на него…

– Ты, потише, потише, тут все-таки учреждение, – напомнил Венька. – А насчет фамилии не беспокойся. Можешь не говорить. Я сейчас приду и скажу, как твоя фамилия…

И Венька надел свою монгольскую шапку. И вот когда он надел эту шапку на лисьем меху, арестованный забеспокоился.

– Погоди, – остановил он Веньку. – Ты в Золотой Пади был?

– Был.

– Нынешний день?

– Нынешний. А что?

– Ты гляди, какая нечисть, а? – будто огорчился рыжий. – Я ж в упор в тебя, в дьявола, стрелял. Точно в точности в башку твою дырявую целил, в эту шапку. Неужели ж я промазал? Или уже у вас у кого, комиссары, еще есть такая шапка?

Получилось странно: не мы допрашивали арестованного, а он нас.

Шапки такой, как у Веньки, ни у кого в нашем учреждении не было. Значит, этот бандит ранил Веньку. И сам признался. А фамилию свою все-таки не хочет говорить.

– Ух, паразит! – сказал Коля Соловьев, оторвав руку от горячей щеки. – Это верно, что тебя надо к атаману отправить. Вон он валяется на снегу…

– Все там будем вот этак же валяться, – почти спокойно откликнулся арестованный. – И вам этого дела не избежать. За Клочкова Евлампия Григорьевича Воронцов из вас еще добрых лент нарежет. Вот попомните мои слова. Воронцов вам это дело не простит. Ни за что не простит. Не надейтесь. И за душу мою грешную сполна ответите. И начальник ваш ответит, седой боров. Не отвертится. Вы еще поплачете, сучьи дети. Вся контора ваша поплачет горючими слезьми…

Такого никогда не было в нашей дежурке, чтобы вот так развязно сидел арестованный бандит и еще грозился. Попадались всякие – бушевали, матерились, бросались на дежурного, даже зашибли одного

нашего сотрудника в коридоре чугунной подставкой, но грозить всему нашему учреждению еще никто не отваживался. Значит, он считает, этот бандит, что Воронцов со своей бандой сильнее нас. Или он это только храбрится?

В дверь просунулся Яков Узелков:

– Можно?

– Нельзя, – сказал Венька и, выглянув в коридор, строго отчитал постовых: зачем они пропускают разных граждан с улицы?

– Я не с улицы! – закричал Узелков. – Я представитель прессы… Я представляю здесь губернскую газету, орган губкома и губисполкома. Я представитель, так сказать…

– Представители пусть приходят утром, – сказал Венька.

Он вышел во двор, побывал в арестном помещении и, вернувшись в дежурку, сообщил рыжему его фамилию.

– Мне самому теперь интересна твоя фамилия, – слабо улыбнулся Венька. – Ты, получается, мой крестный. В голову ты мне, спасибо, не попал, а плечо попортил. Я теперь должен навсегда запомнить твою фамилию – Баукин Лазарь.

– Так точно. Не скрываю: Баукин Лазарь. Даже сверх того – Лазарь Евтихьевич Баукин. Ну что ж, ежели хочешь, дело твое, – запомни, – усмехнулся рыжий. И заметно как бы повеселел. Но от показаний все-таки уклонился.

Я направил его, как приказал начальник, в угловую одиночную камеру.

3

Венька ушел домой после совещания у начальника. Было это во втором часу ночи.

А рано утром, когда я сдавал дежурство, он уже явился в розыск. И в этот же час в дежурку пришел Яков Узелков.

Венька со многими подробностями рассказал ему о вчерашней операции, посоветовал поговорить еще с Колей Соловьевым и в заключение попросил:

– Когда напишешь, покажи, пожалуйста, кому-нибудь из нас. Чтобы не было ошибки. Это дело очень серьезное. Тут, в этом деле, врать ни в коем случае нельзя…

Яков Узелков сказал, что напишет, как ему диктует его художественная совесть. И, поговорив недолго еще с двумя сотрудниками, пошел домой – писать.

Через несколько дней в губернской газете «Знамя труда» был напечатан его очерк, в котором отважно действовали и наш начальник, и Коля Соловьев, и Иосиф Голубчик, и Вениамин Малышев.

О Малышеве в очерке было сказано: «Этот юноша-комсомолец с пылающим взором совершал буквально чудеса храбрости».

И дальше описывались в самом деле несусветные чудеса.

Венька Малышев будто бы первым выступил против банды, а затем уже подоспели Николай Соловьев, застреливший атамана Клочкова, и Иосиф Голубчик, смертельно ранивший в самое сердце отчаянного адъютанта атамана.

О том, что адъютанту всего пятнадцать лет, в очерке сказано не было.

– Поймаю Якуза и обязательно задавлю, – пообещал Венька. – Все же думают теперь, что я сам ему такое набрехал. И меня он каким-то идиотом выставляет. С пылающим взором…

Якуз, однако, как нарочно, несколько дней не показывался в нашей дежурке. Он поехал в Березовку на восстановление, как он потом писал, самого крупного в Сибири лесозавода. Он любил описывать все самое крупное, небывалое, выдающееся. Вернее, у него так получалось в корреспонденциях, что все, о чем он пишет, необыкновенно, впервые появилось, мир об этом еще не слыхивал.

Мы не сильно тосковали о том, что он не приходит. В эти дни у нас было много работы. Почти непрерывно шли допросы арестованных из

банды Клочкова. Нам хотелось с их помощью подобрать верные ключи и к банде самого Кости Воронцова, зарывшейся сейчас в снегах где-то в глубине Воеводского угла.

Банда Воронцова была на длительный период времени основным объектом нашей деятельности, как любил витиевато, не хуже Узелкова, выражаться наш начальник.

Венька Малышев отобрал себе четырех бандитов и день и ночь возился с ними. Он только что не водил их к себе домой, а так со стороны можно было подумать, что это лучшие его приятели. Он называл их по именам – Степан, Никифор, Кирюха, Лазарь Евтихьевич, кормил их своими пайковыми консервами. А Лазаря Баукина угостил даже два раза самогонкой, что уж никакими инструкциями не было предусмотрено.

Бочонок с самогонкой, отобранной у смолокуров на Белом Камне, стоял у нас в коридоре, в особой нише, под замком, рядом с большим несгораемым шкафом, и был предназначен для химического анализа. Но анализ все почему-то задерживался. И этим воспользовались уже несколько наших сотрудников.

И Венька воспользовался, чтобы угостить бандита, хотя до этого осуждал того, кто прикоснулся к бочонку первым.

– Мне же это для дела надо, для служебных надобностей, – как бы оправдывался он передо мной. – Лазарь сильно охрип, и его все время бьет кашель. А эти порошки, которые давал Поляков, нисколько не помогают. И Лазарь вообще не верит докторам. Он их не признает…

В том, что Лазарь Баукин не признает докторов, не было, пожалуй, ничего удивительного. Но то, что Венька так заботливо относится к нему, показалось мне странным. Не лазарет же у нас для простудившихся бандитов и не трактир с подачей горячительных напитков.

Я даже возмутился про себя.

А затем не только мне, но и многим у нас показалось странным, что такой навеки обозленный, угрюмый и всех и вся презирающий бандит, как Лазарь Баукин, вдруг дня три спустя после ареста стал давать показания, хотя приказ начальника – «не кормить» – не был по-настоящему выполнен. Правда, Баукин давал уклончивые показания. Я прочел первый протокол его допроса и сказал Веньке, что этот зверюга чего-то такое темнит.

– А что же ты хотел? Чтобы он пришел к тебе и сразу покаялся? – спросил Венька. – Нет, это ерунда. Так не получится. Не такой это мужик…

И мне показалось, что Венька как бы восхищается этим мужиком. Мне захотелось посмотреть, как Лазарь Баукин ведет себя на допросах, и я однажды во время допроса зашел в секретно-оперативную часть.

Венька посмотрел на меня удивленно:

– Тебе что-нибудь надо?

– Нет, я хотел посидеть…

– Посиди тогда где-нибудь в другом месте. У нас тут вот с Лазарем Евтихьевичем серьезный разговор. Без свидетелей.

Я ушел в свою комнату.

Через час Венька зашел ко мне и, должно быть желая смягчить свою грубость, предложил:

– Хочешь, почитай сегодняшний протокол допроса Баукина. Занятный мужик. Удивительно занятный…

Я сказал:

– А зачем? Я не такой уж любопытный. Ты ведешь допрос, меня это не касается.

– Ну, это ты ерунду говоришь, – заметил Венька. – Нас все касается. И мы за все отвечаем, кто бы что ни делал. А Лазарь в самом деле занятный мужик…

– А что в нем занятного?

– Все. Он сам смолокур и промысловый охотник. И отец у него, и дед тоже смолокурничали и выслеживали зверя. Он тайгу знает – будь здоров.

– Но сейчас-то он бандит…

– Ну, это уж известно. Но вообще-то он мужик занятный. Голова у него забита всякой ерундой, а сам неглупый. Сегодня мне говорит, ежели сибирские мужики эту власть не полюбят, она тут ни за что, однако, не удержится. Хоть пять лет простоит, хотя десять, но все равно не удержится. Колчака Александра Васильевича сибирские мужики не полюбили, и он не удержался. Не смог, не сумел. Штыком, однако, да силком мало что сделаешь, как ни вертись.

– Что же тут хорошего? – сказал я. – Значит, он настоящий контрик, если сравнивает Советскую власть с Колчаком…

– Вообще-то, конечно, – согласился Венька. – Вообще-то, конечно, это не пряник. Но надо еще как следует разобраться. Человек – все-таки смолокур и охотник, можно сказать, потомственный. И вдруг – ерунда какая – связался с бандитами…

– Да мало ли смолокуров и охотников в разных бандах! – рассердился я. – Что он, маленький? Связался! Ему, слова богу, не пятнадцать лет. Он сам мог сообразить.

– Ну, знаешь! – сказал Венька. – Другой раз и старику так задурят голову, что он не сразу может разобраться.

Венька жил искренним убеждением, что все умные мастеровые люди,

где бы они ни находились, должны стоять за Советскую власть. И если они почему-то против Советской власти – значит, в их мозгу есть какая-то ошибка. Он считал, что и Лазаря Баукина запутали, задурили ему голову разные белые офицеры.

Даже дома, поздно вечером, когда мы пили чай, Венька вдруг вспомнил о нем:

– А Лазарь, наверно, сидит сейчас впотьмах в угловой камере и думает, думает…

– Да он, наверно, спит давно. Чего ему еще думать?

– Нет, он все время думает. Я это каждый день замечаю. Ох и здорово он не любит нас!..

– Нам его тоже не за что любить, – говорил я. – Бандит как бандит…

– Ну, это верно, – соглашался Венька. – Но все-таки он мужик занятный. Вчера мне говорит: «Начальник у вас для этого дела очень слабый». Я спрашиваю: «Почему?» – «Я, говорит, вижу. Нервный он шибко. Кричит. Прошлый раз вон рявкнул на меня, ажно у самого уши покраснели. Против бандитских атаманов он никуда не годится. Слабый шибко, жирный». Я говорю: «А начальнику нашему и не надо быть атаманом. Тут учреждение, а не банда». А Лазарь говорит: «Рассказывай! На всяком деле должен быть крепкий мужчина, чтобы его слушались без крику и визгу и понимали, что он на своем месте».

Меня удивило.

– Неужели ты с ним так разговариваешь на допросах? И он еще ругает начальника…

– Он не ругает, он просто приглядывается ко всему. Он очень приметливый. А что, я ему рот должен заткнуть? Он говорит, я его слушаю. Это хорошо, что он разговорился…

– Все-таки я не стал бы говорить с ним про начальника, – сказал я. – Кто он такой, чтобы еще рассуждать и тем более критиковать?

– Вот это и хочу понять, кто он такой. Мне это интересно. Мне вообще интересно, какие бывают люди. Не все же одинаковые.

Хлопотливая должность помощника начальника по секретно-оперативной части обязывала Веньку Малышева заниматься многими делами. И он занимался: выезжал на мелкие и крупные происшествия, собирал агентурные сведения, вел допросы, составлял сводки. Но самым интересным делом для него теперь было продолжение допросов Лазаря Баукина. Да едва ли то можно было назвать допросами.

Почти каждый день Венька что-нибудь рассказывал мне о нем, точно совершал открытия. Оказывается, Баукин хорошо знаком с Костей

Воронцовым, хотя никогда не был в его банде. Еще при царе Лазарь работал у отца Воронцова на смолокуренном заводе.

Венька подробно расспрашивал Баукина о его жене, о ребятишках, вслух жалел ребятишек, у которых родитель ни с того ни с сего вдруг занялся бандитским делом.

Вот так и проходили допросы. На допросе же Лазарь Баукин вдруг спросил Малышева, хорошо ли заживает у него рана на плече.

– Плохо, – ответил Венька. – Попортил ты мне, Лазарь Евтихьевич, плечо.

– Это еще ничего, – сказал Лазарь. – Это благодаря господа я только в плечо тебе угодил. Я ведь тебя насмерть мог ухлопать. У меня глаз ты знаешь какой? Как у ястреба. Почти что без промаха…

– Хвастается он, – заметил я, когда Венька рассказывал мне об этом.

– Это верно – немножечко хвастается, – улыбнулся Венька. – Но ему уже больше обороняться нечем. Вчера мне опять говорит: «Ты не верь докторам. От раны, ежли не шибко загнила, есть одно хорошее средство – брусничный лист. Только не сушеный, а живой, который сейчас в тайге под снегом. – И вздохнул: – Не попасть уж, видно, мне обратно в тайгу. Ни за что, однако…»

– Да, уж в тайгу ему, пожалуй, больше не попасть, – подтвердил я. – Если на суде станет известно, что он тебе, как представителю власти, прострелил плечо, ему могут наверняка вышку дать…

– Могут, – огорчился Венька. – Но я нигде это в протоколах не пишу, что он в меня стрелял. И у нас об этом знают только ты и Коля Соловьев. А Коля не трепач…

– А я трепач?

– И ты не трепач, – успокоил меня Венька. – А Лазарь еще про многое не говорит. Если его по-настоящему расколоть, можно большое дело сделать…

Допрашивая Лазаря Баукина, Венька все время составлял историю его жизни. Он составлял ее, конечно, не столько из крайне скупых показаний самого Баукина, сколько из допросов других арестованных, сличал разные показания, сверял их с нашими агентурными сведениями и устраивал очные ставки.

Выяснилось, что Баукин – бывший солдат царской армии. За геройство на фронтах империалистической войны был представлен к четырем Георгиевским крестам. Три получил, а четвертый где-то завяз в бумагах воинских канцелярий. Пока хлопотал о четвертом кресте, лежа в госпитале по случаю тяжелого ранения, началась Октябрьская революция, и все

награды его потеряли значение.

Потеряла значение, как казалось ему, вся его боевая жизнь.

Выходило, что и ранили его трижды зазря, без всякого смысла, если он не может гордиться даже теми крестами, что выданы ему. Ни к чему оказались эти кресты.

На родной заимке Шумилово, в глухой тайге, куда вернулся он из госпиталя, хозяйство его за время войны пришло в полное расстройство. Ни коровы, ни коня. Жена с тремя малыми детьми живет из последнего, батрачит у богатых мужиков.

Мужики богатые и бедные одинаково проклинают бестолковую войну с немцем. Их не удивишь тут ни крестами, ни медалями. И геройством не удивишь.

Лазарь Баукин оказался в родных местах почти единственным, кого не только не утомила, но даже разгорячила изнурительная война, несмотря на ранения. Он все еще жил войной, не зная, за что приняться в крестьянском деле, от которого отвык за годы войны.

На его счастье или, скорее, несчастье, глубокой осенью восемнадцатого года прибыл на побывку в родные места его старший брат, Митрофан, выслужившийся в войну до унтер-офицерского чина.

Братья выпили на радостях, душевно разговорились. И Лазарь впервые за все это смутное, тяжелое время узрел единомышленника.

Пьяный Митрофан, сильно хвастаясь своими успехами, рассказал, что есть верные люди, которые опять собирают армию, такую же, как была, только более крепкую. И если сейчас вступить в нее, можно многого добиться без особого труда.

В этой армии будут высоко ценить три «Георгия», полученных Лазарем, и будет выдан четвертый, еще не полученный, поскольку все справки у Лазаря в полном порядке.

Лазарь уехал с заимки в начале зимы и вступил добровольцем в белую армию.

Дело было, конечно, не в том, чтобы выхлопотать четвертый Георгиевский крест. Дело было в великом соблазне поправить пошатнувшееся хозяйство за счет тех льгот и наград, которые были обещаны добровольцам белой армии после победы в гражданской войне.

Победу, однако, одержали не белые, а красные.

После разгрома белой армии Лазарю пришлось скрываться, опасаясь особо сурового наказания за то, что он был не только белым солдатом, а еще и помощником командира взвода и, главное, добровольцем.

В скитаниях он набрел на бывшего колчаковского штабс-капитана

Клочкова, находившегося одно время в подчинении у «императора всея тайги», а затем отделившегося от него с небольшой бандой.

Вступив в эту банду, Лазарь Баукин долгое время не ладил с Клочковым. Лазарь считал, что надо грабить только кооперативы и базы, но не тревожить крестьян, с чем не соглашался Евлампий Клочков, вышедший из городского купечества и стремившийся наказывать все население за свою собственную неудачливую судьбу, стремившийся сеять ужас.

Лазарь хотел устранить Клочкова, чтобы самому стать главарем банды. Но Клочков был не так прост и старался обезопасить себя от Баукина, не доверяя ему во многом, остерегаясь его…

Все это выяснил Венька Малышев путем перекрестных допросов. Он сразу заметил, что Лазарь Баукин резко отличается от других арестованных бандитов. И даже здесь, в угрозыске, в арестном помещении, бандиты говорят о Лазаре как о своем главаре, как о человеке, который мог бы стать главарем, если б не превратности судьбы.

Веньку больше всего интересовали связи Баукина в других бандитских соединениях. Ведь не так уж отдельно действовала банда Клочкова, у нее были связи, наверно, и с Воронцовым и с другими.

И еще интересовало Веньку, если можно так выразиться, истинное самочувствие Баукина.

– Интересно, – говорил мне Венька, – что бы Лазарь сейчас стал делать, если бы ему, допустим, удалось уйти от нас?

– Опять пошел бы в банду.

– Нет, не думаю. У него башка все-таки работает. Я ему все время встряхиваю башку разными вопросами.

– Да для чего это? – спросил я.

– Для дела, – улыбнулся Венька.

У Веньки появилась идея – побывать еще зимой в Воеводском углу, на родине Лазаря Баукина, навестить его жену, его ближайших родственников и добыть как можно больше сведений о его связях.

Из трофейных фондов гражданской войны нам достались, кажется, японские, аэросани. Изломанные, они все лето и осень валялись у нас на пустыре. И только теперь, зимой, нашелся механик, согласившийся отремонтировать их и пустить в дело.

В свободные часы мы с Венькой и с Колей Соловьевым часто ходили на пустырь и помогали механику отвинчивать и отмывать в керосине ржавые болты и гайки, хотя надежды на восстановление саней у нас почти не было.

Механик, видимо, сам не мог разобраться как следует в механизме и

все говорил:

– Кабы мне ихнюю схему достать. Я бы их разобрал в два счета…

Мы с Колей Соловьевым постоянно смеялись над механиком, говорили, что он, наверно, большой специалист: может любую, какую угодно, сложную машину разобрать на все части и собрать очень быстро и прямо… в мешок.

А Венька называл нас чистоплюями и уверял, что сани будут восстановлены. Он еще года два назад работал слесарем в железнодорожных мастерских, и этот механик разговаривал с ним подле саней как со своим человеком, как с человеком, причастным к благородному делу обработки металлов.

– Вот погодите, – говорил нам Венька, – вот погодите, мы на этих санях прокатимся скоро в Воеводский угол…

Эта идея понравилась и нашему начальнику. Он теперь все чаще выходил из кабинета, чтобы посмотреть, как подвигается работа на пустыре.

Механику был выдан из трофейного фонда полный комплект кожаного обмундирования: пальто, штаны, сапоги и шлем. Он, кроме того, требовал кожаные перчатки с длинными отворотами, какие носят авиаторы. Но начальник сказал, что о перчатках похлопочет, когда будут восстановлены сани.

У саней, все еще лежавших на снегу в перевернутом виде, собирались многие наши сотрудники, давали советы, спорили, смеялись.

Однажды сюда пришел и Яков Узелков.

Вытащив из брезентового портфеля блокнот с напечатанным вверху названием газеты, он интересовался, что появилось новенького за время его отсутствия.

– Я, к сожалению, не мог к вам раньше прийти, – как бы извинялся он, нервно покусывая карандаш. – Я несколько дней разъезжал по уезду. Были, можно сказать, пикантные встречи…

Мы Узелкова не видели с той поры, как прочитали в газете «Знамя труда» выспренний очерк о разгроме клочковской банды в Золотой Пади. Мы уже стали забывать о существовании Узелкова. Но сейчас, увидев его, снова ожесточились.

– Можешь к нам больше не ходить, – сказал ему Венька. – Нам брехуны не нужны. С пылающим взором.

– Да тебе и не надо к нам ходить, – добавил я. – Для чего тебе сведения, если ты можешь все высосать из своего вот этого тоненького пальца?

И Коля Соловьев засмеялся.

– Чудаки! – ничуть не смутился Узелков. – Я же вас вывел героями – и вы же еще недовольны. Дикари, питекантропы…

– Уходи, – опять сказал Венька. – Уходи, и чтобы тебя тут вовсе не было. Больше тебе никакой сводки давать не будем.

По пустырю как раз в это время проходил наш начальник. Узелков пошел за ним. И, на наше удивление, начальник отнесся к нему весьма любезно. Он даже обнял его за плечи и повел к себе в кабинет. Мы слышали, как Узелков сказал:

– Популяризация – моя главная задача.

И наверно, это слово «популяризация» покорило нашего начальника, тоже любившего необыкновенные слова.

Вскоре он вызвал Веньку и меня и, сидя в кресле, сделал нам нагоняй, говоря:

– Как же это так? – И показал на Узелкова. – Товарищ, можно сказать, собственный корреспондент, пишет про нас, освещает нашу работу. А мы, значит, будем ему палки в колеса кидать? Нет, это будет неправильно. Так не пойдет. Я запрещаю это решительно. Понятно?

Узелков ушел, получив все нужные ему сведения.

Начальник сам закрыл за ним дверь и, опять усевшись в кресло, спросил:

– Вы для чего, ребята, допускаете в своей работе глупость, личные счеты и так далее? А?

Венька доложил, что тут не личные счеты, а просто вранье и глупость со стороны корреспондента.

– Вранье? – удивился начальник и покачал своей седеющей колючей головой. – Вранья допускать, конечно, нельзя. Вы за этим должны смотреть, докладывать в случае чего мне. А так препятствий чинить не надо. Это же, имейте в виду, пресса. С ней ссориться никак нельзя.

Может быть, в этот момент далекие воспоминания колыхнули суровое сердце нашего начальника. Он вдруг подвинул к нам коробку с папиросами, чего раньше никогда не делал, и сказал, продолжая грустно улыбаться:

– Поздно вы родились, ребята. Ничего хорошего вы еще не видели. И не знаете. И вам даже непонятно, что такое пресса. Ведь вот, допустим, у нас в цирке как было? Не только приходилось ожидать, когда напишут про тебя в прессе, а самим даже приходилось соображать. Даю честное слово. Придет, бывало, репортер в цирк, а ты норовишь ему в руку сунуть рублевку или даже трешницу. Этак деликатно. Чтобы написал после. Ну, и ждешь потом. Ангажемент! Вы ведь этого ничего не понимаете. Про вас

пишут, а вы обижаетесь. Бесплатно пишут, и в положительном тоне. Надо бы только приветствовать такого корреспондента. Приветствовать…

Понятно, что после этого у Якова Узелкова в нашем учреждении появилась такая поддержка, о какой он и мечтать не мог.

Он в любое время теперь заходил к начальнику и называл его запросто – Ефрем Ефремович.

Два раза, однако, мы пробовали разоблачить корреспондента в глазах начальника, но делали это, видимо, неумело, неубедительно. Говорили, например, что Якуз много сочиняет. Против этого обвинения начальник выдвинул веский довод. Он сказал:

– Вот, допустим, французская борьба. Многие зрители обижаются, что борцы борют друг друга не по-честному, а как велит арбитр. «Сегодня ты меня положишь, завтра – я тебя». Зрители говорят: «Это афера». И я говорю: правильно. Ну, а как вы думаете, без аферы лучше будет? Нет, хуже. Борцы тогда, озлившись, даже покусать друг друга могут, трико порвут, измочалятся до крови. Ну, и что же тут красивого? Ничего. Нет, вы молодые ребята, вы этого не понимаете, что такое искусство…

И начальник закрыл глаза, показывая, что разговор окончен.

Якуз продолжал писать как хотел.

Одержав над нами первую крупную победу, он сразу как-то вырос в наших глазах. У него даже плечи стали как будто пошире.

К тому же он сшил себе входившую тогда в моду толстовку из чертовой кожи, приобрел новые ботинки, и мы смеялись, что вот, мол, на происшествиях оделся человек. Голос у него стал еще тверже, еще уверенней.

Читая в сводке об изнасиловании, он вдруг говорил удивленно:

– Ах! Опять это либидо сексуалис.

Дежурный по угрозыску спрашивал:

– Чего?

– Это мои мысли вслух, – небрежно отвечал Узелков.

В другой раз в разговоре с нами он также вдруг ни с того ни с сего сказал:

– Извините, но у меня на этот счет своя концепция. Я не считаю, что мы живем в век пессимизма.

– Ну, уж это совсем ерунда какая-то! – возмутился Венька. И спросил: – Что такое пессимизм?

– Учиться надо, – сказал Узелков. – Учиться, а не заниматься пикировкой.

Что такое пикировка, он тоже не объяснил.

В конце концов мы стали верить, что он не может говорить по-другому, что эти затейливые слова так же привычны для него, как для нас наши. Мы постепенно стали привыкать к этим его словам и уже не искали в них каверзного смысла. Да и сам Узелков нас все меньше интересовал.

У нас и без него было много всяких дел. Главным же все еще оставалось дело арестованных из банды Клочкова.

Прокурор уже несколько раз требовал, чтобы их поскорее перевели в городской домзак. Пора, мол, готовить процесс. И притом большой, показательный.

Но Венька, пользуясь своим положением помощника начальника по секретно-оперативной части, упорно задерживал бандитов в нашем арестном помещении, ссылаясь на оперативные надобности.

Он все еще продолжал допрашивать Лазаря Баукина и его соучастников.

4

В кабинете нашего начальника стоял громоздкий застекленный шкаф, полный толстых книг в кожаных переплетах с золотым тиснением.

Шкаф этот недавно еще украшал, наверное, богатый кабинет. Говорили даже, что принадлежал он знаменитому золотопромышленнику Полукарову. Революция, переместившая много громоздких вещей, передвинула, перетащила и этот шкаф с книгами. Неизвестно, читал ли наш начальник эти книги. Но каждый раз, когда разбиралось какое-нибудь запутанное преступление, он кивал бодливо на шкаф, говоря очень строго:

– Криминалистическая наука на что нам указывает? Криминалистическая наука нам прямо указывает на то, что надо в первую очередь изучать психологию преступника. А это значит что? Это значит, надо докапываться до корней. Бывает, что преступник запирается на допросе, не хочет говорить, юлит, финтит, изворачивается. Тогда, значит, что? Тогда, значит, надо повлиять на его психологию…

И начальник считал, что Венька Малышев правильно ведет допросы Лазаря Баукина.

– Вот именно Малышев бьет на психологию в этом вопросе, – тыкал пальцем в протоколы начальник. – Поэтому я не вмешиваюсь. Хотя этот Баукин, видно по всему, очень сложный экземпляр. Я лично применил бы к нему самые жестокие меры…

Этого больше всего и боялся Венька, уверенный, что начальник не простит Баукину того случая в дежурке, когда он приказывал встать, а Баукин продолжал сидеть и еще обозвал начальника боровом.

Венька все время деликатно внушал начальнику, что этот бандит Баукин при осторожном к нему отношении может дать очень ценные показания. И уже кое-что дает.

Вскоре Баукина, по настоянию Веньки, перевели из одиночки в общую камеру.

– Там ему будет все-таки веселее, – сказал Венька. – А то, чего еще доброго, Лазарь от тоски с ума сойдет…

И мне даже противно стало, что Венька так заботится о Баукине. Ему еще, видите ли, веселье требуется, этому зверюге.

Мы уже заканчивали допросы всей клочковской группы, когда четверо бандитов попросились в баню, в том числе и Лазарь Баукин.

– Может, перед смертью и помыться больше не придется, – вздохнул он. – А мы, однако, православные, как ни есть христиане.

Уже замечено давно, что чем звероватее бандит, тем жалостливее он ведет себя, когда чувствует безвыходность своего положения.

Вот почему я считал, что Венька напрасно цацкается с Лазарем. Просто Лазарь сумел разжалобить его. И у Веньки еще будут от этого большие неприятности.

– Что ж ты раньше-то не вспоминал, что ты христианин? – спросил я Баукина. – Когда убивали и калечили людей, так не вспоминали, какого вы вероисповедания…

Лазарь ничего мне не ответил.

А Венька, подошедший в этот момент к дверям камеры, сказал Пете Бодягину, прозванному за особую и часто неуместную резвость Бегунком:

– Петя, проводи арестованных в баню.

И прошел дальше по коридору, будто не заметил меня.

Было это поздно вечером в субботу.

Баню жарко натопили, потому что днем в субботу всегда мылись в ней наши сотрудники и перед сном ходил париться сам начальник.

И вот как раз после начальника в баню пошла, по распоряжению Веньки, эта четверка заядлых бандитов под охраной Пети Бегунка и одного милиционера из городского управления.

Бандитам в бане показалось холодно, и они попросили подбросить немножко дров.

– Кто же вам будет дрова подбрасывать? – спросил Петя. – Истопник ушел.

– Да мы сами подбросим, ежели разрешишь, – сказал Лазарь Баукин. – Мы все-таки лесные жители. Живем в лесу, молимся колесу, а, однако, тоже люди. Одушевленные…

И правда, они тут впотьмах стали перетаскивать дрова. Но потом оказалось, что перетаскивал-то один Никифор Зотов, а остальные трое, зайдя за поленницу березовых дров, перемахнули через каменный забор и скрылись.

В тот же час была организована погоня. Поиски опасных преступников продолжались всю ночь, но не дали никаких результатов.

И утром уже весь город разговаривал об этом побеге.

У ворот уголовного розыска остановились щегольские санки. Из санок вылез уездный прокурор, посещавший нас только в торжественных случаях, а чаще вызывавший к себе. Он протер носовым платком толстые стекла пенсне и, выслушав объяснение начальника, заявил, что потребует

немедленно отдать под суд Бодягина – Бегунка – и милиционера Корноухова, находившегося на посту у бани.

Тогда Венька Малышев сказал, что если вопрос ставится так на ребро, то пусть лучше уж его, Малышева, отдадут под суд: ведь это он распорядился проводить бандитов в баню.

У прокурора задрожало пенсне на носу.

– Закон одинаково распространяется на всех, – сказал он. – Если преступники не будут пойманы, вы, естественно, также должны будете понести серьезную ответственность за вашу, я позволю себе сказать, возмутительную халатность. Или, может быть, – он многозначительно поднял палец, – за другие противозаконные действия. Я сейчас еще не хочу ничего предрешать…

Затем прокурор два раза измерил шагами по снегу расстояние между забором и баней, осмотрел колючую проволоку на заборе, оставшуюся почти не тронутой, произнес в заключение только одно слово: «Специалисты!» – и пошел со двора.

Начальник провожал его до саней, что-то горячо доказывал ему, размахивал руками, но что именно доказывал, нам не было слышно.

Венька стоял во дворе в одной гимнастерке, без шапки и рассеянно смотрел на ржавый моток колючей проволоки, валявшейся у забора в снегу. Эта проволока осталась от той, что обматывала забор. Надо было бы обматывать его еще выше.

Я сказал об этом Веньке. Но он махнул рукой и поморщился.

– Все это ерунда. Не в проволоке дело.

– А в чем? В психологии, что ли? – не мог не съязвить я. – У собак, наверно, тоже есть своя психология.

Венька внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил, только обиженно надул губы. И я мгновенно представил себе, каким он был в детстве.

Он был, наверно, беленьким, веснушчатым, толстогубым мальчиком с застенчивыми глазами. Он стал взрослым, высоким, сильным. На лице его теперь чуть заметны веснушки, и волосы чуть потемнели. А в глазах в этот час огорчительной растерянности все еще светится детство.

– Вот, Малышев, плоды твоего пресловутого и закоренелого либерализма, – указал пальцем начальник, возвращаясь от ворот. – Где ты у кузькиной матери будешь его сейчас искать, этого прекрасного Лазаря Баукина, с компанией? А ведь я тебя, кажется, предупреждал. Предупреждал я тебя или нет? Ответь…

Но Венька ничего не ответил и начальнику.

Начальник вынул из брючного кармана портсигар, подавил большим пальцем на голову змеи, изображенной на крышке, взял папиросу, раздраженно помял ее в искалеченных пальцах и, прикурив, сказал:

– Молчишь?! Упрямый ты человек, я смотрю на тебя, Малышев. А это значит что? Это значит, что я по-настоящему обязан отстранить тебя от должности…

Венька сузил вдруг вспыхнувшие глаза и дерзко взглянул на начальника.

– Отстраните. Я плакать не буду. Это ваше дело, кого отстранить, кого назначить.

– Нехорошо разговариваешь. Не помнишь, с кем разговариваешь, – прихмурился и дохнул на него дымом начальник. – И правильно, надо бы тебя отстранить.

Начальник сердито зашагал к крыльцу. У крыльца остановился.

– Однако я тебя не отстраню. Я тебя заставлю, имей в виду, найти Баукина. Ты слышал, что прокурор заявил? Надо найти преступников. Во что бы то ни стало. Найдешь?

– Не знаю, – сказал Венька. – Я к ворожее еще не ходил. Откуда я могу знать, найду или нет?

– Нехорошо разговариваешь, – опять заметил начальник и ушел в здание.

А Венька остался во дворе.

Из амбулатории, что рядом с баней, вышел фельдшер Поляков.

– Хочешь, плюс ко всему, застудить плечо? – спросил он Веньку. – Я на тебя все время в окно смотрю, как ты в одной гимнастерке разгуливаешь. Пойдем, я тебе переменю повязку. А то я скоро уйду. Меня в уздрав вызывают…

Венька покорно пошел за Поляковым.

Я заглянул в секретно-оперативную часть, когда Венька вернулся из амбулатории.

Он сидел за столом, подперев голову обеими руками, и читал какие-то протоколы.

Я посмотрел ему через плечо и узнал протоколы допросов Баукина.

«Их читать теперь бесполезно», – подумал я, но ничего не сказал. Веньке, наверно, и так здорово обидно. Лучше не затрагивать больное место.

Я спросил, не пойдет ли Венька обедать.

– Нет, – поглядел он в окно. – Рано еще. Я есть не хочу. – И вдруг улыбнулся. – Нет почему-то аппетита…

Из окна был виден белый, заснеженный пустырь, на котором копошился подле аэросаней механик.

Удивительным мне показалось, что корпус саней уже поставлен на лыжи и укреплен похожий на крест пропеллер.

– Пойду покопаюсь с ним, – кивнул в окно Венька. – Все равно сегодня ничего не лезет в башку. Башка просто как чугунная.

Венька надел свою монгольскую шапку, стеганую телогрейку, взял варежки и пошел на пустырь.

Когда я возвращался из столовой после обеда, он все еще сидел на корточках подле саней и, поворачивая метчик, нарезал зажатую в тисках гайку.

Лицо и руки у него были измазаны черным маслом, и, разговаривая о чем-то с механиком, он смеялся.

«Вот, наверно, настоящее его дело», – подумал я, приближаясь к ним.

И Венька со смехом сказал, увидев меня:

– Готовлюсь в механики, в старшие помощники по механической части, если отстранят. Надо заранее подготовиться. А то, может быть, не успею, как погонят…

Я присел около него. Все-таки странно, что он так быстро успокоился и даже как бы взбодрился.

– Гляди, – показал он, – сани-то скоро начнут действовать. А ты сомневался, не верил. – И, легонько надавив на рычаг, развернул тиски. – Не верить, я считаю, нельзя. Правда, нельзя не верить? – спросил он механика, как мальчик. И, не дождавшись ответа, опять засмеялся: – Я, например, во все чудеса верю. В любые чудеса…

Это он, может быть, от нервной встряски стал таким веселым, подумалось мне тогда. Или из упрямства, из самолюбия не хочет теперь показать всем, что его ошеломил побег Баукина.

Однако обедать в этот день он так и не пошел.

И ночью долго не мог уснуть, все ворочался. Наверно, у него разболелось плечо.

О Лазаре Баукине он как будто забыл на следующий же день.

Но когда курсантов с повторкурсов снова вывели на лыжах прочесать ближайший к Дударям лес, Венька сказал мне:

– Ерунда это все. Лазарь не глупее нас. Если он ушел, так ушел. И знал, куда уйти. Не такой он мужик, чтобы не сообразить…

И опять я не заметил, что Венька сердит на Баукина.

Кто-нибудь со стороны, послушав Веньку, мог бы серьезно заподозрить его в том, что сам же и помог убежать Баукину, но у меня даже

мысли такой не было. Нет, Венька не знал, что Лазарь убежит, если его поведут в баню.

Я вспомнил, как Венька побледнел, когда услышал о побеге, как он всю ночь вместе с курсантами повторкурсов прочесывал лес под Дударями и перед утром сказал мне:

– Все-таки я никогда не думал, что так получится. За такое дело я сам бы стукнул его. Это же не шутка. Взять бандитов с бою, а потом за здорово живешь отпустить!

Нельзя сказать, что мы ничего не делали в последующие недели, чтобы хоть нащупать след беглецов. Мы облазили, пожалуй, весь город и несколько ближайших к городу деревень, но никого не нашли.

– Надо ехать в Воеводский угол, – решил Венька.

И начальник согласился с ним, но считал, что необходимо подождать, когда будут готовы аэросани.

Венька теперь почти все свободное время проводил на пустыре подле аэросаней.

О Баукине он по-прежнему даже в разговорах со мной не вспоминал. Да и аэросани готовились не только для поимки Баукина.

Начальник считал, что нам давно пора объехать в зимнее время Воеводский угол, так сказать, прощупать его, разузнать, чем он дышит и как само население относится к банде Кости Воронцова, притаившейся до времени в снегах глухой тайги Воеводского угла.

О Баукине напоминал прокурор. Он каждую неделю звонил нашему начальнику и спрашивал, нет ли отрадных новостей.

– Нет, но будут, – успокаивал его начальник. – Предпринимаем серьезную экспедицию…

А пока жизнь в нашем учреждении шла своим порядком.

Не надо, однако, думать, что нас волновали только события, связанные с нашей работой. Были, конечно, и другие события.

5

В продовольственном магазине недалеко от нашего учреждения появилась хорошенькая кассирша.

Венька первый заметил ее и показал мне.

Она сидела в стеклянной будке на высоком стуле перед серебристой кассой, строгая, чуть надменная, в голубом мохнатом свитере, и выбивала талоны с таким снисходительным видом, будто ее пригласили сюда временно заменить кого-то и она любезно согласилась, хотя за пределами магазина у нее есть, наверно, другое дело, более важное и более интересное.

Выбрать работу по вкусу, по душевным склонностям было в те годы почти невозможно. Безработица томила людей, заставляла цепляться за любой способ заработать. Лишь бы как-нибудь прокормиться, прокормить семью. И девушка эта, нам думалось, тоже случайно стала кассиршей. Не похожа она была на кассиршу. Нисколько не похожа. Занятие в магазине, видимо, огорчало ее, покупатели раздражали, но она сдерживала себя, временно покорившись судьбе.

И это выражение надменной покорности на лице кассирши вначале поразило нас, а затем вовлекло в непредвиденные расходы.

Вскоре все ящики наших служебных столов были заполнены спичками.

И хотя ни я, ни Венька не хотели признаться даже друг другу, что нас интересует кассирша, со стороны это все-таки было нетрудно заметить.

В магазин мы стали ходить и вместе и порознь почти каждый день и в день по нескольку раз. Покупать нам было, в сущности, нечего, и спички были пока единственным показателем нашей необыкновенной взволнованности.

Сначала мы покупали их по целой пачке, потом по два коробка и, наконец, по коробку, но заговорить с кассиршей не решались.

И странное дело! Чем чаще мы заходили в магазин, тем меньше смелости было у нас.

Мы стали стесняться даже заглядывать в магазин. Нам казалось, что и кассирша заметила нашу заинтересованность, и посторонние люди начинают смеяться.

Однако мы все-таки каждый день, занятые все прибывавшей работой, думали, что именно сегодня как-нибудь случайно увидим кассиршу. Может

быть, встретим на улице.

Думали мы, разумеется, каждый про себя. Но я уверен, что Венька думал точно так, как я.

Однажды утром он достал из-под кровати летние сапоги, начистил их до блеска и стал носить вместо валенок каждый день, хотя еще стояли морозы.

В сапогах в обтяжку он выглядел много интереснее. И ясно было, что он носил их теперь специально для кассирши.

Я все-таки спросил:

– Для чего это зимой в сапогах?

Он сказал:

– Мне так легче.

И вдруг вспыхнул, сконфузился. Поэтому я не стал его расспрашивать.

Я сапог не надевал. Я по-прежнему ходил в валенках. Но зато я постоянно придумывал подходящие фразы на случай внезапного разговора с кассиршей. Я верил, что такой случай произойдет. Где-нибудь мы с нею обязательно встретимся.

Взволнованность наша все росла.

Я не знаю, заметил ли это Узелков, но однажды, сидя у нас в дежурке, он взглянул в окно и сказал торопливо:

– Смотрите, смотрите, ребята, вон какая амазонка идет!

Мы подошли к окну. Она шла по тротуару, высокая, стройная, в теплых вышитых унтах, с крошечным чемоданчиком, как артистка.

Я скрыл свое волнение, помолчал секунду и, сколько мог равнодушно, спросил у Якуза:

– Ну, как?… Нравится она тебе?

Узелков еще раз взглянул на нее и, как старичок, в бурной жизни которого было много красивых женщин, давно надоевших ему, презрительно пожевав губами, ответил:

– Не лишена.

У Веньки Малышева лицо налилось горячей кровью. Хмурый, он отошел от окна, будто озабоченный неотложным делом, и вышел в коридор.

Узелков, продолжая смотреть в окно, сказал, ни к кому не обращаясь:

– Я сегодня непременно с ней познакомлюсь. Это, должно быть, экзальтированная девушка. В моем вкусе. Даже в походке чувствуется этакая… экзальтация. – И стал обеими руками надевать чуть полысевшую заячью папаху.

Обещание свое он выполнил в тот же вечер.

Вечером в магазине никого не было. Магазин закрывался. Узелков

зашел купить пачку папирос, и кассирша выбила ему последний чек. Он взял папиросы и, закуривая тут же, заговорил с кассиршей, считавшей выручку.

Он, наверное, – я так думаю – распахнул свою собачью доху, под которой у него новая толстовка из чертовой кожи, вязаный шелковый галстук с малиновой полоской посредине и разные жестяные и эмалированные значки.

Не знаю, этим ли, или необыкновенными словами, или еще чем-нибудь он поразил воображение кассирши.

Известно только, что, закончив подсчет выручки, она разрешила ему проводить ее до дому, не обратив, должно быть, особенного внимания на его незавидные внешние данные.

Проводив ее, он в тот же час, хотя было уже очень поздно, прибежал к нам в дежурку и рассказал подробности.

– Она, как мадам Бовари, – говорил он, удовлетворенно сморкаясь в пестрый носовой платок, – совершенно одинокая. И, как я, приезжая. Только из Томска. У нее тут никого нет. Живет на Кузнечной, шесть. Довольно культурная. Разбирается в вопросах. Отец – преподаватель то ли физики, то ли химии. Сама, как и я, еще недавно была на производстве, кажется, в Усолье. Там и вступила в комсомол. Зовут Юля. Фамилия – Мальцева. Приехала сюда случайно. Ей сказали, что тут можно устроиться в клуб, что тут нужны работники. Но ее обманули…

Из всех подробностей нас больше всего удивило, что она комсомолка.

В те времена комсомолки одевались еще на редкость просто, как на плакатах, – стриженые, в косынках, в рабочих башмаках. А у нее были длинные вьющиеся волосы, затейливо причесанные, и в волосах точеная блестящая гребенка.

Нам приятно было узнать, что она комсомолка. Это сближало нас. Но в то же время нам было обидно. Уж кому-кому следовало бы, кажется, первым собрать все сведения о ней, так это нам, а не Узелкову.

Некоторые товарищи, может быть, даже скажут сейчас: какие же вы были работники уголовного розыска, если не могли самостоятельно узнать даже такие простые подробности?

Но работники уголовного розыска, я уверен, так не скажут. Ведь это было не оперативное задание. Это была не служба. Это было – я знаю теперь – наше первое сильное увлечение, лишившее нас необходимой для успеха рассудительности и быстроты действий.

Всякий раз теперь, приходя к нам в дежурку, Узелков обязательно рассказывал что-нибудь о Юле Мальцевой, о ее характере, привычках,

вкусах.

– Она задыхается в этой глуши, и ей, мне кажется, приятно, что я иногда провожаю ее, – говорил он однажды вечером, сидя у нас в дежурке и поглядывая на стенные часы. – На прошлой неделе я не зашел за ней, так она даже обиделась. А вчера я просидел у нее почти до двенадцати часов…

– Где это ты просидел у нее? – спросил я.

– Разумеется, дома, на Кузнечной шесть. Она просила меня почитать ей Есенина.

– Она что же, сама не может прочитать?

– Да разве в этом дело? Она просит, чтобы именно я читал. Она находит, что я отлично читаю стихи. А она вполне культурная девушка. Я ей задавал самые сложные вопросы даже из области физики и химии. И она прекрасно реагирует. Мы с ней вместе, по моей инициативе, перечитали «Мадам Бовари»…

Может быть, нам не так бы было обидно, если бы кто-то другой подружился с этой самой Юлией Мальцевой. Но Узелков…

Я потом часто думал, что люди в большинстве случаев одинаково несправедливо и любят и не любят друг друга. Возможно, что и Узелкова мы не любили несправедливо и поэтому упорно старались не замечать его достоинств, которые, быть может, заметила Юля Мальцева. Ведь какие-то достоинства у него были.

Во всяком случае, успех Узелкова нас раздражал, хотя мы, наверно, сами изрядно преувеличивали его успех и никак не могли понять, чем же он берет.

Я помню, он особенно расстроил нас в тот вечер, когда рассказывал, что просидел у Юли до двенадцати часов. Мы, правда, не поверили ему, но все-таки расстроились.

Выйдя из дежурки на улицу, объятую морозом, мы с Венькой пошли прямо к Долгушину.

Обычно мы ходили к нему в субботу, после бани. А это было, кажется, в четверг. Но мы все-таки пошли.

У Долгушина играла музыка. Две худощавые девицы, стоя на возвышении, пели тягучий цыганский романс. Их было видно в стеклянную дверь, отделявшую ресторан от вешалки.

У вешалки, как всегда, стоял огромный начучеленный медведь с белесыми стеклянными глазами, в которых отражался желтый свет керосиновой лампы-«молнии». И ресторан так и назывался – «У медведя».

В этом ресторане до революции кутили богатые купцы, торговцы пушниной, золотопромышленники. Поэтому ресторан был поставлен, как

говорится, на широкую ногу, с расчетом на солидного посетителя.

Прежний его хозяин, Махоткин, после разгрома Колчака уехал, говорят, за границу. Уехали и многие его клиенты. Но кое-кто остался, приспособившись к делам и при новой власти.

Приспособился и Долгушин, бывший приказчик купца Махоткина.

В прошлом году он снова открыл этот ресторан, сохранив прежнюю вывеску и прежние порядки.

Публика, однако, стала более пестрой. Но и из этой публики хозяин выделял некоторых посетителей, оказывая им особый почет.

Нас Долгушин обычно встречал у дверей.

Причастный к не очень чистым коммерческим делам, он слегка побаивался нас и, точно желая загладить давнюю вину, заботился и суетился больше, чем надо. Оттеснив швейцара, он сам помогал нам снимать полушубки и говорил возбужденно:

– Пожалуйте, прошу вас, господа.

– Господа в Байкале, – напоминал Венька.

– Ну, извините старичка. Я уж так привык, дорогие товарищи.

– Вам жигаловские волки товарищи, – говорил я.

Долгушин дробно смеялся, будто услышал что-то невероятно смешное, и поспешно семенил впереди нас, крича на ходу:

– Захар, столик прибрать! Начальники пришли! Чистую скатерть!

Нам отводили столик в давно облюбованном углу, из которого удобно было наблюдать всю публику, не привлекая к себе всеобщего внимания.

Долгушин, расточая улыбки, суетился около нас, мешая официанту накрывать стол. Но мы как бы не замечали его. Будто не он был хозяином в этом приятном, хорошо натопленном, сверкающем белизной заведении, украшенном свежими пихтами, кружевными занавесками и бронзовой люстрой с хрустальными подвесками.

Мы презирали Долгушина.

И до сих пор мне непонятно, как мог он, не возмущаясь, терпеть наше такое откровенное к нему отношение.

Впрочем, за этим презрительным отношением скрывалось собственное наше смущение. Нам, комсомольцам, не следовало бы ходить в нэпманский ресторанчик. Но мы все-таки ходили.

Нам нравились здесь и отбивные котлеты, и чистые скатерти. И скажу откровенно, цыганские романсы нам тоже нравились. Они звучали в табачном дыму, как в тумане, далеко-далеко.

Долгушин спрашивал:

– По рюмочке не позволите?

– Нет, – говорил Венька.

– Да у меня ведь, поимейте в виду, не самогонка, у меня настоящая натуральная водочка. Как, извиняюсь, слеза. Имею специально разрешение от власть предержащих…

– Все равно не надо.

– Неужто не пьете?

– Нет.

– А работа у вас тяжелая, – вздыхал Долгушин. – По такой работе, как я понимаю, если не пить… Хотя не наше собачье дело. Угодно, пивка велю подать?

– Угодно, – говорил Венька.

Долгушин, в знак особо почтительного к нам отношения, сам приносил на наш столик пиво, потом отбивные котлеты с картошкой и огурцом, нарезанным сердечком, и в заключение крепкий чай.

Всегда одно и то же, по нашему желанию.

И всякий раз Долгушин удивлялся:

– Какие молодые люди пошли сознательные! Ни водку они не пьют, ни вино. И правильно. Что в ней хорошего-то, в водке? Одна отрава, и только. Совсем бы ее не было.

Мы молчали. Водку пить у Долгушина мы все-таки не решались.

Да водка в те времена и не так уж сильно интересовала нас. Сам ресторанный веселый шум действовал и возбуждающе и успокаивающе.

Мы отдыхали здесь. И лучшего места для размышлений мы не могли бы придумать.

Город тогда еще не восстанавливался после гражданской войны. У города не было средств. Наполовину сожженный и разрушенный колчаковцами во время отступления, он все еще полон был развалин и землянок.

Единственный клуб имени Парижской коммуны помещался в здании бывшего женского монастыря. Но там устраивали только собрания и крутили одни и те же старинные кинокартины с участием Веры Холодной, Мозжухина и Лисенко. А на толстых, древних стенах сквозь свежую окраску проступали лики святых.

В этот вечер мы долго сидели в ресторане. И ни я, ни Венька ни разу не вспомнили вслух ни об Узелкове, ни о кассирше Юле Мальцевой, как будто нас это вовсе не интересовало.

Мы уже готовы были расплатиться по счету и уйти, когда в застекленных дверях показался Узелков.

Он небрежно скинул на руки старика швейцара свою облезлую

собачью доху и заячью папаху. Оправил толстовку. Пригладил сухонькими, как у старичка, руками волосы. И, близоруко оглядывая публику слезящимися с мороза глазами, вошел в просторный зал.

– О, – разглядел он нас, – вы, оказывается, тоже не очень-то ортодоксальны – тоже посещаете злачные места!.. Привет частному капиталу! – полуобернулся он к Долгушину.

– Ну, какой у нас капитал! – вздохнул Долгушин. – Весь капитал в нынешнее время ушел за границу…

– Ладно, ладно. Нечего прибедняться. Я не фининспектор, – присел Узелков к нам за столик. – Кофе мне, пожалуйста. – И поднял палец. – Черный! И желательно покрепче…

– Понимаю, – поклонился Долгушин. – А еще что позволите?

– Ну, что у вас там еще есть?

– Например, печенье, пирожные…

– Пирожные? Ну что ж, можно пирожное. Только, пожалуйста, песочное. Я с кремом не люблю…

– Я знаю, – опять поклонился Долгушин.

Был какой-то еле уловимый оттенок в отношении Долгушина к нам и к Узелкову. С Узелковым он разговаривал так, будто им одним, Долгушину и Узелкову, точно известны особые тонкости ресторанной культуры, угасающей в эти тяжкие времена.

И хотя Узелков ничего, кроме кофе с пирожными, не заказал, Долгушин все-таки выразил на мятом своем лице искреннее удовольствие тем, что его посетил такой важный и культурный человек, как Узелков.

А ничего важного, на взгляд, в Узелкове не было. Мне подумалось, что у него и денег нет, поэтому он и не заказал настоящую еду. Но он пил кофе с таким видом, словно только что хорошо отужинал и лишь из баловства – исключительно из баловства – заказал сверх всего кофе.

Он прихлебывал из маленькой чашечки и одновременно курил, аккуратно стряхивая пепел на лапки фарфорового зайца, поддерживавшего блюдце-пепельницу.

Недалеко от нашего столика под стеклом буфетной стойки тускло мерцали бутылки со сладкой водой и разной величины тарелочки с сыром, кетовой икрой и с копченым омулем.

Кивнув на них, Узелков сказал:

– Что единственно прекрасно в Дударях, так это продовольственный вопрос. Даже по сравнению с Москвой здесь прекрасно…

Оказывается, Узелков еще год назад ездил в Москву. Он упомянул об этом вскользь, между прочим. Но мы сразу же заинтересовались его

словами.

Венька, облокотившись на стол и подавшись всем корпусом к Узелкову, спросил:

– И на Красной площади был?

– Разумеется…

– А Ленина видел?

Узелков потянул к себе блюдце с чашечкой и опять сказал:

– Разумеется…

У Веньки заблестели глаза.

– Что «разумеется»? Ты скажи прямо: видел Ленина?

– Ты что меня допрашиваешь? – вдруг обиделся Узелков и чуть отодвинулся вместе со стулом.

– Не допрашиваю, – смутился Венька. – Но, понимаешь, это же очень интересно, если ты правда видел Ленина. Где ты его видел?

– Это длинный разговор…

– Ничего. Мы послушаем…

Венька подозвал официанта и заказал ему еще пива, чтобы не сидеть даром. Потом предложил Узелкову:

– Ты себе тоже что-нибудь закажи, какую-нибудь еду. Пирожным этим ты не наешься. Может, у тебя денег с собой нет? Мы заплатим…

– Вы что, хотите сыграть роль… меценатов?

– Да ничего мы не хотим сыграть. Просто нам интересно тебя послушать. Закажи, что хочешь. Посидим, поговорим…

– Страннее у вас отношение, – насмешливо посмотрел на нас Узелков.

И действительно, ему могло показаться странным, что Венька, часто сердившийся на него, вдруг проявил к нему такой горячий интерес и даже хотел угостить ужином.

Узелков от ужина за наш счет отказался. И разговор о Москве у нас тоже не получился, Узелков так и не смог или не захотел – нет, скорее не смог – рассказать нам ничего нового о Ленине, хотя Венька задавал ему множество вопросов. Он крутил его этими вопросами, как ребенок куклу с заводным механизмом, желая угадать, где же у нее душа.

Наконец Венька спросил:

– А почему в Москве ты не поселился, ну, словом, не задержался там?

Узелков допил кофе, доел пирожное и, оставив на тарелке – для приличия – только крошечный кусочек, сказал:

– Мое место там, где я всего нужнее. Сибирь еще долго будет испытывать недостаток в культурных людях.

– Ну, это правильно, – согласился Венька. И еще спросил: – А отсюда

когда уезжаешь?

Узелков поиграл ложечкой в пустой чашке и сам спросил:

– А тебе это зачем… знать?

– Просто так, – сказал Венька. – Пива выпьешь?

– Налей.

– Ты ведь приехал вроде, в командировку. Мы так поняли, что ты на время приехал…

– На время, – подтвердил Узелков, подняв стакан. – Но время – понятие растяжимое. Вот я и решил растянуть его.

– Ты, значит, можешь жить по своей воле, где хочешь и сколько хочешь?

– Могу. Но, конечно, до известной степени. Наступит какой-то момент, и я отсюда уеду. Юля Мальцева вчера сказала, что она с ужасом думает о том, как все будет, когда мне придется уехать…

При этих словах Узелкова Венька густо покраснел и опять подозвал официанта, теперь, чтобы расплатиться.

– И за него получите, что он тут пил, – показал Венька на Узелкова.

– Нет-нет, ты уж за меня, пожалуйста, не беспокойся, – запротестовал Узелков. – Я за себя заплачу сам. Странная манера для комсомольца разыгрывать роль мецената…

– Кто это такой меценат? – спросил Венька.

– Меценат – это был такой в древности, – роясь в карманах, стал было объяснять Узелков. – Да, впрочем, что я вам?! Я хочу только заметить, что комсомольцу, пожалуй, не стоит разыгрывать роль благодетеля или мецената…

Но Венька и не собирался разыгрывать никакой роли. Нам обоим просто хотелось в этот вечер как-то приветить Узелкова, потому что за всеми его пышными словами нам почудилось вдруг что-то невыразимо печальное. Может, он и слова эти произносит, чтобы прикрыть какие-то неудачи в своей жизни, о чем он прямо не говорит, но что просвечивается в его круглых галочьих глазах.

Венька даже спросил его:

– Ты какой-то вроде печальный. Дела, что ли, неважные на твоей службе?

– Мыслящий человек, как показывает история человечества, всегда печален, – сказал Узелков. – Вам это, разумеется, не понять. Вы, так сказать, выполняете простые функции. Других интересов, как я догадываюсь, у вас нет. Духовная жизнь вам, иначе говоря, недоступна. Вы ведь даже книг не читаете…

– Это верно, – согласился Венька, не обидевшись.

Хотя можно было бы обидеться. И кто-нибудь другой обиделся бы на Узелкова, на его слова, произнесенные грустным и в то же время почти презрительным тоном.

А Венька только сказал:

– Понимаешь, некогда. И читать некогда, и скучать некогда. Прочитаешь что-нибудь, что по делу надо, и все. А этого, конечно, мало… Да ты пей пиво, – опять налил он Узелкову полный стакан. – Это же не для пьянства – пиво. Оно для здоровья. Ты смотри, какой ты худенький. А от пива ты сразу порозовеешь. И может быть, подобреешь даже…

– Любопытная теория, – усмехнулся Узелков, но пиво выпил.

И Венька снова наполнил его стакан.

– А как ты пишешь? – спросил Венька. – Ты сначала берешь какой-то случай, а потом придумываешь чего-то?

– Придумываю, – насмешливо сощурился Узелков. – Как это ты все вульгарно представляешь себе! – И вдруг почти с ожесточением: – Я создаю определенный интерес к материалу. У нас же есть подписчики. Ты думаешь, это вот так просто – распространять газету? Многие в настоящее время не хотят подписываться. Ведь публика еще весьма… еще ужасно малокультурная. Все время надо давать интересный материал, с изюминкой…

И Узелков щелкнул языком, как тогда, в первый раз, в дежурке, когда мы с ним познакомились.

– И ты, значит, не можешь… не придумывать? – опять как бы потянулся к нему через стол Венька. – Тебя что, заставляют, что ли, придумывать? Это порядок, что ли, такой?

– Порядок, – засмеялся Узелков. – Я пишу для читателя. Меня должен знать читатель. У меня должно быть свое имя. Для читателя я – Якуз. Я не просто беру факты, я их осмысливаю и подаю не только в художественной форме, но и в определенном политическом освещении. В этом смысле моя роль весьма значительна, что, конечно, вам трудно, пожалуй, еще понять…

– Нет, почему! – сказал Венька. – Это мы понимаем, что ты работаешь для политики. Это нужно. Нужно объяснять, какая должна быть жизнь, как все должно быть устроено. Но перехватывать или вроде как привирать, я считаю, не надо…

– Что надо или чего не надо – это, к сожалению, не нам с тобой решать, – многозначительно произнес Узелков и внимательно посмотрел в пустой стакан.

– А что мы с тобой, не люди, что ли? – выплеснул Венька в его стакан

остатки пива из бутылки. – Мы все-таки комсомольцы и тоже что-то думаем, обязаны думать…

Узелков достал папиросы, закурил и, поломав в тонких пальцах спичку, сказал:

– Это в ресторане хорошо рассуждать. А жизнь значительно сложнее, чем ты это себе представляешь. Истинно мыслящему человеку недостаточно поесть котлет и запить пивом, вот как вам. Уже древним было понятно, что не единым хлебом жив человек. Особенно, я хочу сказать, истинно мыслящий человек…

И он, казалось, совсем некстати, опять заговорил о Юле Мальцевой. Видимо, не только себя, но и ее он относил к мыслящим людям. Он стал рассказывать, как она прекрасно поет. У нее чистое сопрано. Кроме того, она отлично танцует.

– Но кому нужны в этом городе такие таланты? – вздохнул Узелков. – Кто тут может это понять и оценить? На днях она просчиталась, передала покупателю лишние деньги, и возник такой скандал, что, если бы не отзывчивость некоторых товарищей, она могла бы попасть под суд.

Отзывчивость эту, надо было так думать, проявил сам Узелков. Вот почему он, наверное, и не ужинал, а попил для фасона кофе и накурился, чтобы не томил голод.

Я заметил, как он рассчитывался с официантом и держал в коленях портмоне, чтобы мы не увидели, сколько у него денег.

Мы это сразу заметили, что он не при деньгах. Но дать ему взаймы было неудобно. Он слишком гордый, гордый и в то же время какой-то жалкий.

Непонятно мне все-таки, что нашла в нем Юля Мальцева, если правда, что он ходит к ней почти каждый вечер.

Он рассказывал, как она после работы сама готовит себе обед. Потом, веселая, берет гитару и поет. Больше всего, по словам Узелкова, ей удается «Все говорят, что я ветрена бываю, все говорят, что я многих люблю!».

– И между тем она не лишена серьезных духовных интересов. Мечтает поступить в университет. Упорно занимается и физикой и химией. И увлекается художественной литературой. Прочитала всего Флобера. Особенно ее увлек образ мадам Бовари. Кстати, это и мой любимый образ…

Рассказывая о Юле, Узелков, однако, не воспламенялся. Он сидел все такой же, с виду печальный и скучный. А у меня от его рассказа немножко спирало дыхание. И Венька все больше хмурился, но делал вид, что не слушает Узелкова, а разглядывает публику.

Вдруг Узелков разглядел в глубине зала какого-то знакомого и, оборвав рассказ о Юле, даже не попрощавшись с нами, пошел к нему. Мы, видимо, нужны ему были только до той поры, пока он не увидел знакомого. И тем, что он так поступил, он как бы лишил нас тех добрых чувств, какие мы только что испытывали к нему.

Когда мы вышли из ресторана на пустынную и темную улицу, объятую крепким и звонким ночным морозом, Венька, подымая воротник полушубка, то ли насмешливо, то ли серьезно проговорил:

– Силен Узелков! Ничего не скажешь, силен…

– Нос у него мировой, – засмеялся я. – И уши музыкальные…

– Не вижу ничего смешного, – посмотрел на меня Венька. – Если только на нос и на уши обращать внимание, можно больше ничего не заметить. Если к тому же завидуешь человеку…

– По-твоему, я завидую Узелкову?

– Почему ты? Может, мы вместе ему завидуем…

– В чем?

– Мало ли в чем. Но заметно, что завидуем. Поэтому и сердимся.

– Да в чем мы должны ему завидовать? – возмутился я. – Он настоящий трепач. По-моему, он и в Москву не ездил. И Ленина он не видел. Если б он видел Ленина, он, знаешь, как бы об этом рассказывал? А он ничего не мог нам рассказать. Только что в газетах пишут, он это все сейчас повторил. И в Дудари его послали, может, потому, что он там, в редакции, никому не нужен, а сюда толковые корреспонденты не хотели ехать – боялись…

– А он не побоялся, – перебил меня Венька. – Значит, он не такой трус. А ты на него сейчас обиделся и вспомнил про его нос…

– Из-за чего я на него обиделся?

– Из-за всего. Из-за того, что он вдруг встал и ушел, будто мы пешки какие и ему совсем неинтересно с нами…

– Ну, это верно, – признался я. – Мне стало противно, что он так задается. И еще чего-то говорил про нашу духовную жизнь. Я не люблю, когда задаются…

– А я не люблю, когда собирают ерунду, – вдруг почему-то обозлился Венька. – Я не люблю, когда вот так обидятся, как ты, и начинают собирать ерунду. Мы весь вечер с ним разговаривали, хотели что-то понять. И ничего не поняли. А теперь будем смеяться, как торговки на базаре, что у него такой нос и уши. И он все равно со своим носом делает дела и не спрашивает у нас совета…

Венька не сказал, какие дела он имеет в виду. То, что писал Узелков в

газете, ни мне, ни Веньке, в общем, не нравилось. А еще какие дела у Узелкова?

Я спросил об этом у Веньки, но он махнул рукой и больше ничего не сказал.

Мы пришли домой оба на что-то сердитые. Хотя я-то знал, на что я сердит. Мне неприятно было, что Венька как будто взял под защиту Узелкова. Почему это вдруг?

Мы молча разделись и легли спать. Но в эту ночь нам долго не спалось.

Венька ворочался, кровать его скрипела, и мне казалось, что я не сплю, потому что скрипит его кровать. Потом наступила тишина. И в тишине Венька сказал:

– Интересно бы выяснить, чем он все-таки берет?

– Наверно, образованием, – предположил я, зная, что речь идет об Узелкове.

– Образованием? – будто удивился Венька.

Опять койка сердито скрипнула под ним и затихла. Он, видимо, завернулся в одеяло.

Я тоже поправил подушку и попробовал уснуть. Но Венька вдруг сбросил с себя одеяло.

– Не могу привыкнуть спать на левом боку – сейчас же какая-нибудь ерунда приснится. А на правом – больно плечу. Здорово он мне все-таки его ободрал…

– А ты на спину ложись, – посоветовал я. – Или на брюхо.

– Все равно не могу, – вздохнул Венька. – И как он ловко все к месту вставляет: и химию и физику. И эту… Как он говорил?

– Мадам Бовари, – подсказал я.

Мысли наши шли в эту ночь по одному руслу. Я угадывал все, о чем думал Венька.

– Буза, – наконец задумчиво и устало проговорил он. – Мадам Бовари. Подумаешь, невидаль!

Через минуту Венька уже спал, зарыв голову в подушку.

Я встал, напился воды и тоже уснул.

Утром он чистил зубы над тазом и сквозь зубы говорил мне:

– В пиво Долгушин чего-то такое подбавляет. У меня голова болит.

Я сказал:

– Мне тоже показалось.

– Чего показалось?

– Ну, что он что-то подбавляет…

– Надо это проверить, – строго сказал Венька. – Пусть инспекция проверит, и в случае чего надо его взять за жабры.

Потом мы напились чаю, и голова у Веньки перестала болеть.

Ставя на табуретку то одну, то другую ногу, он чистил сапоги и как-то особенно бережно протирал их бархоткой.

Впрочем, он делал это каждый день. Каждый день он или чистил щеткой, или даже гладил горячим утюгом всю свою одежду и тщательно осматривал ее на свету перед окном, проверяя, все ли в порядке.

– Аккуратный, как птичка, – говорила про него наша хозяйка Лукерья Сидоровна, женщина болезненная, слезливая, не сильно любившая нас, поселившихся у нее помимо ее воли – по ордеру из коммунхоза.

В это утро, начищая сапоги, Венька говорил о том, что мы, в сущности, плохо работаем, занимаемся ерундой и вроде топчемся на месте. По-настоящему надо бы уже сейчас, хотя бы на подводах, ехать в Воеводский угол. Нельзя всю зиму ждать, когда будут готовы аэросани. Так, чего доброго, и зима пройдет…

6

За ночь мороз ослабел. Выпал новый снег. Улица была пушистой, веселой.

Мы шли по улице, и я, взглянув на двухэтажный деревянный домик с резными карнизами, пошутил:

– Зайдем в библиотеку.

– Зайди, – сказал Венька.

Я засмеялся.

– Зайди, серьезно, – уже попросил он. – Мне сейчас некогда. Я бы сам зашел…

Я, смеясь, поднялся на крыльцо этого чистенького домика библиотеки, осторожно открыл дверь.

Катя Петухова, увидев меня, растерялась. Подумала, наверно, что я кого-нибудь ищу. И я тоже, заметив ее растерянность, немножко смутился. Она спросила строго, на «вы»:

– Вам что угодно?

Худенькая, белобрысая, в сером служебном халатике, она стояла передо мной и смотрела на меня, точно собираясь обидеться.

Я проговорил смущенно:

– Да вот, понимаешь, Малышев Вениамин – ты же его, наверно, знаешь – попросил меня зайти. Книги тут взять…

– Какие книги? – по-прежнему строго спросила Катя.

Она никак не могла ожидать моего прихода, да еще в такой ранний час: ведь прежде я никогда не заходил в библиотеку. Она, должно быть, ждала неприятностей. Вдруг я спрошу: «Не укрывается ли у вас тут кто-нибудь?» Но я вынул из кармана записную книжку, в которую имел обыкновение записывать, между прочим, замысловатые слова Узелкова, и прочитал ей:

– «Франсуа Рабле», «Мадам Бовари».

– «Мадам Бовари» Густава Флобера, – деловито сказала Катя, уже успокоившись. – Это есть, пожалуйста. В отрывках. А Франсуа Рабле сейчас нет. Да вам зачем вдруг потребовалось с самого раннего утра?

– Надо нам, Катя, – произнес я секретным голосом. – И еще дай, пожалуйста, химию, если есть…

– Химию… – повторила Катя и подставила к полке лесенку-стремянку. – Тебе какую химию?

– Как какую?

– Ну, органическую или неорганическую?

– Обе, – махнул я рукой.

Катя выложила на длинный узкий стол, покрытый линолеумом, несколько учебников химии.

– Выбирай, какую тебе надо. Вот Флобер.

Я выбрал три толстые книги.

– Три нельзя, – отложила она в сторону одну книгу. – И подожди. Я тебя должна записать в карточку.

Я подождал. Катя записывала и говорила:

– Срок – две недели. Прочтешь и приходи снова. Я только не понимаю, почему у вас такой выбор – химия и Флобер. Если решили заниматься самообразованием, надо постепенно. Я могу вам список составить.

– Составь, – попросил я. – Нам только, понимаешь, надо очень срочно.

– Очень срочно, – повторила Катя и улыбнулась снисходительно.

Но я ушел довольный.

«Мадам Бовари» в отрывках мы прочитали в два вечера.

Потом я принес еще несколько книг, рекомендованных Катей Петуховой.

Я не могу сказать, что чтение сильно увлекло нас. «Мадам Бовари», например, просто не понравилась. А химия оказалась настолько непонятной, что мы решили отложить ее до лучших времен.

Надо сказать спасибо Кате Петуховой. Она научила нас составлять конспект прочитанного.

А книг в этой библиотеке было много. Еще при царе политические ссыльные завезли их сюда. Короче говоря, нам было что читать. Не хватало только времени, потому что мы не могли распоряжаться им по своему усмотрению. И все-таки мы прочитали за короткий срок немало книг.

И чем больше мы читали, тем сильнее чувствовали, как нам не хватает образования.

А раньше мы этого не замечали.

Нет, неправда, замечали, чувствовали. Но не так, как теперь, когда постепенно пристрастились к чтению.

Было бы неправильно, однако, считать, что чтением мы занялись только под влиянием Узелкова и только для того, чтобы привлечь к себе внимание и возвыситься в глазах Юли Мальцевой.

Мы занялись бы чтением все равно. Но Узелков, конечно, был первым, кто стал колоть нам глаза нашим невежеством. А потом мы сами удивлялись, как это мы раньше могли жить, не читая, когда все, ну буквально все вокруг нас читают или чему-нибудь учатся.

Это может в нынешнее время показаться странным, но я помню: после каждого комсомольского собрания, где лекторы говорили о социализме, о том, какая жизнь будет при социализме, нас с Венькой стала охватывать тревога.

Нам казалось, что при социализме мы, чего доброго, окажемся самыми отсталыми. Ну что мы действительно будем делать? Мы даже обыкновенную школу не закончили. А при социализме все будут культурными, все должны быть культурными.

Однажды вечером Венька читал брошюру Ленина «Задачи союзов молодежи».

И в это время к нам заглянул наш дружок Васька Царицын – очень хороший паренек, работавший монтером на восстановлении электростанции.

Он шел на репетицию в драмкружок. И вот по дороге зашел к нам. Поболтали о том о сем. Васька рассказал нам анекдот, но мы как-то не сразу засмеялись, и он спросил, почему мы сегодня такие невеселые.

– Да так, – сказал Венька. – С чего особенно веселиться-то?

– Ну, все-таки… Вы уж что-то очень невеселые, – заметил Царицын. И посмотрел на брошюру: – А это чего вы читаете? Готовитесь, что ли, к чему?

– Ни к чему не готовимся. Просто так читаем, – сказал Венька. И спросил: – А ты это читал?

– Нет, – засмеялся Васька. – Я в руководящие товарищи не лезу. Мне и так не худо…

– Да при чем тут руководящие! – возмутился Венька. – Это каждый комсомолец должен прочитать. Я это в прошлом году читал, но как-то не все уяснил. А вот сейчас – слушай…

И он стал читать подчеркнутое карандашом:

– «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Или вот опять: «Коммунист будет только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания».

– Ну и что? – спросил Васька. – Я это знаю. У нас еще когда такой доклад был, на электростанции…

– Нет, вот я хочу тебя спросить, – сказал Венька. – Ты вот мне ответь. Ты, например, можешь стать коммунистом?

– Могу, – твердо ответил Царицын. – У меня две рекомендации, и меня еще рекомендует комсомольская ячейка.

– Это само собой, – сказал Венька. – Рекомендации и у меня есть. Но

вот могут ли из нас получиться сейчас коммунисты?

– А почему? – опять засмеялся Васька. – Ты думаешь, нам будут экзамен устраивать, проверять, переработали ли мы все знания? Да я встречаю таких коммунистов, которые даже того не знают, что мы с тобой знаем. У нас на станции работает старичок Михей Егорыч, тоже старый коммунист. Он еще в тысяча девятьсот пятом участвовал. Но он может работать только слесарем. Он и сам в инженеры не стремится. А между прочим, коммунист…

– Нет, с тобой не сговоришься, – сказал Венька. – Ты просто не понимаешь, чего тебе говорят. Ты боишься только экзамена и радуешься, что тебя не будут экзаменовать. А совесть?

– Что совесть?

– Совесть коммунистическую надо иметь или нет?

– Совесть у меня имеется, – с достоинством заявил Царицын и посмотрел на свое отражение в темном оконном стекле. – Но ты ведь, Венька, все берешь в идеальном виде. А если в идеальном брать, так нас всех до старости нельзя будет принять в коммунисты. Вот, скажем, так. В драмкружке мне дали сейчас играть генерала Галифе. Юрий Тихонович, наш режиссер, говорит, что я на него нисколько не похожий. И вообще эта роль не для меня. Но больше сыграть некому. Значит, буду играть я. И публика ни за что не догадается, похожий я на него или непохожий. Тут же у нас, в Дударях, никто генерала Галифе не видел. Штаны галифе видели, а генерала такого никто не видал.

– Ну да, – мотнул головой Венька. – Во всяком деле можно словчить и всех обмануть, но коммунист ловчить не должен. Не имеет права ловчить.

Васька чуть обиделся и сказал, что он никогда не ловчил и ловчить не собирается. Конечно, он не участвовал в пятом году и даже на гражданской войне не был, но если начнется война с капиталистами, как пишут в газетах, он не хуже других пойдет на фронт и покажет, что он настоящий, идейный коммунист. А что касается переработки знаний всего человечества, то он собирается поступить на рабфак. И если потребуется, он все эти знания переработает. А в чем дело?

– Вот это здорово! – позавидовал Венька. – А я, к сожалению, поступить не могу.

– Почему?

– Потому что… Ну, словом, потому что я еще в детстве слабо учился. Хотя возможность была. Мой отец работал на железной дороге, хорошо зарабатывал. Хотел, чтобы я выучился. Но у меня большая задумчивость в детстве была. Учитель на уроке, бывало, объясняет, и я сначала слушаю.

Потом чего-то такое задумаюсь, и все, что рассказывал учитель, из головы уйдет. Дальше я уж стараюсь его слушать, но мало что понимаю, поскольку часть пропустил. А раз я не понимаю, мне уже скучно слушать. Поэтому многие учителя меня считали бестолковым…

Васька засмеялся.

– Ничего смешного тут нет, – сказал Венька. – Может, я не один такой бестолковый. Может, много таких. Но тогда надо бы нас учить как-то по-особому. Но ведь учат, как стригут – всех под одну гребенку. Вот при коммунизме, наверно, по-другому будут учить. И все будет по-другому. При коммунизме…

Васька Царицын перебил его:

– При коммунизме много чего будет. Но надо сначала всех бандитов и жуликов переловить. И сделать так, чтобы больше не жульничали и не спекулировали. А то вот мы про коммунизм разговариваем, а у нас сегодня ночью на электростанции весь свежий тес увезли, украли. Наверно, частникам продали…

– Вы заявили? – спросил я.

– Заявили.

– Ну, значит, найдем.

– Найти – это мало, – сказал Васька. – Надо это все вообще прекратить, всякое воровство и жульничество, чтобы этого никогда не было. Хотя, – Васька опять засмеялся, – хотя, если это все прекратится, вы-то с Венькой куда денетесь? Вы же тогда безработными будете!

– Почему это? – возмутился я. – Венька может работать слесарем. Он уже работал немножко. И я тоже куда-нибудь поступлю. Или пойду обратно в Чикиревские мастерские…

– Ну, куда вы теперь поступите? Вон какая безработица! – кивнул на темное окно Васька. – На бирже труда прямо сотни людей топчутся. Нету никакой работы…

– А что, она вечно, что ли, будет, безработица? – спросил Венька сердито. – Ты считаешь, что безработица будет вечно?

– Не вечно, но все-таки, – замялся Васька. – Моего отца опять сократили по штату…

Вспомнив об отце, Васька вдруг заговорил о женитьбе. Ему, оказывается, прямо в срочном порядке надо жениться.

Очень тяжелое положение в семье. Мать недавно умерла, отец-печник с горя запил, продает на барахолке последние вещи. Маленькие сестренки и братишка остались без присмотра. Что делать? Надо жениться, чтобы в доме была хозяйка. И у Васьки уже есть на примете одна. Хорошенькая,

аккуратненькая. Приезжая. Но за ней увивается корреспондент. Как охотничья собака, повсюду за ней ходит. Не дает поговорить. А она кассирша…

Венька наклонил голову над столом, потом встал из-за стола и открыл шкаф, будто ему что-то потребовалось.

А я спросил Ваську:

– Это какая же кассирша?

– Да вы, наверно, не знаете, – сказал Царицын. – Из продуктового магазина кассирша. Бывший Махоткина магазин, как раз против вашего учреждения. Мальцева Юля ее зовут…

Мне стало очень обидно: «Даже Васька Царицын уже с ней познакомился. И собирается даже жениться. А мы…»

Венька, наверно, тоже так подумал. Он закрыл шкаф и сердито сказал Ваське:

– Ну что же, желаю тебе счастья с этой кассиршей…

– Да нет, – вздохнул Васька. – У меня, наверно, с ней ничего не выйдет. Этот корреспондент Узелков и на репетиции ее провожает, и с репетиций. Я же говорю, как охотничья собака…

– А какие репетиции?

– Да я же рассказываю: у нас в драмкружке. Мы сейчас вот здесь в школе репетируем, сегодня в костюмах. Пьеса из жизни Парижской коммуны. Эта Юля Мальцева, кассирша, будет играть Мадлен Дюдеван. Юрий Тихонович, наш режиссер, ей прямо в глаза говорит: «Вы прелестный цветок». Она будет умирать на баррикадах…

Васька взглянул на наши ходики и обомлел…

– Ой, да я опаздываю!

Он замотал шею красным шарфом, как у настоящего артиста, натянул телогрейку и побежал к дверям.

У дверей он еще раз оглянулся.

– Если хотите, ребята, можете зайти на репетицию. Это тут рядом. Мы сегодня первый раз репетируем в костюмах…

Я предложил Веньке, смеясь:

– А в самом деле, давай сходим посмотрим? Интересно.

– Давай, – согласился Венька.

7

В школе во всем здании было темно.

Только на втором этаже горела маленькая керосиновая лампа.

Мы поднялись по деревянной лестнице, прошли по коридору, где сильно пахло пудрой и паленными волосами, приоткрыли дверь в большой зал.

И сразу же навстречу нам вышел лысый человек в черной бархатной блузе с белым бантом.

– Вы участники? – спросил он. – Из массовки? Ну, что вы молчите? Немые?

Мы привыкли отвечать, что мы из уголовного розыска. Но на этот раз мы промолчали, потому что все это к уголовному розыску не имело никакого отношения. А что такое массовка, нам было неизвестно.

Мы смотрели не на лысого человека, а на Юлю Мальцеву, которую хорошо было видно в приоткрытую дверь.

Она, не замечая нас, сидела перед зеркалом и держала над головой закопченные черные щипцы для завивки. Значит, это ее паленными волосами и ее пудрой пахло в коридоре и на лестнице.

Других девушек в этом зале, где готовились к репетиции, как будто не было.

– Ну, в таком случае извините, – насмешливо расшаркался перед нами, как на сцене, лысый человек. – У нас репетиция. Посторонним нельзя.

Нам надо было вызвать в коридор Ваську Царицына. Он же нас пригласил. Но мы не решились. И ушли, подавленные, кажется, больше всего этим словом – посторонние. Посторонним нельзя.

Нам везде можно. Когда дело связано с опасностью, когда могут убить, поранить, искалечить, нам всегда можно. А вот здесь нельзя.

И огорчаться как будто не из-за чего. Но мы почему-то сильно огорчились.

Переходя через улицу, мы увидели под фонарем заячью папаху Узелкова. Он шел в школу на репетицию драмкружка, чтобы потом проводить домой Юлю Мальцеву. Ну да, ему, конечно, можно… Он везде пройдет. И все другие раньше нас пройдут повсюду. И на репетиции в разных драмкружках, и на рабфаки. Да и женятся, наверно, удачливее нас.

А мы повсюду опоздаем. Нас обгонят все, хотя, быть может, мы и не самые бестолковые, не самые некрасивые.

Мне до той поры никто никогда так не нравился, как Юля Мальцева.

Я и сейчас, закрыв глаза, могу испытать волнение, представив себе тогдашнюю Юлю Мальцеву во всем ослепительном блеске, во всей прелести ее неполных восемнадцати лет.

До сих пор в моей памяти живут ее большие, навсегда удивленные, насмешливо-озорные и добрые глаза, ее волнистые, легкие волосы.

Вся она, веселая и грустная, медлительная и быстрая, с гибким и сильным телом, живет в моей памяти.

Но когда я, как возможный, соперник Веньки, сравнивал себя с ним, мне понятно было, что не меня, а именно Веньку Малышева должна бы полюбить такая девушка.

Мы, кажется, в одно время с ним вступили в комсомол, в одно время, хотя и в разных городах, были зачислены на Эту работу. Мы прочитали с ним одни и те же книги. И опыт жизни наш, и возраст были почти одинаковы. Но все-таки я считал его старше себя, умнее, опытнее и, главное, принципиальнее.

Уж, конечно, если не меня, так Веньку должна была бы полюбить Юля Мальцева, но никак не Узелкова. Позднее, однако, я наблюдал, что красавицы не всегда достаются красавцам. Даже чаще красавицы в конце концов выходят за таких, как Якуз. И кажется, не очень жалеют об этом.

А тогда, в тот далекий, на редкость тоскливый вечер, когда мы не попали на репетицию и острый запах паленых волос и удивительно пахучей пудры преследовал нас и на улице, я озлоблен был на несправедливость судьбы.

Весь остаток вечера я не мог найти себе подходящего занятия. Я не мог ни читать, ни играть в шашки. Да и играть было не с кем.

Венька, когда мы пришли домой, сразу сел писать письмо матери. И писал его долго. Потом заклеил конверт и понес бросить в почтовый ящик. Глаза у него были задумчивые.

Я сказал внезапно, должно быть нарушив его настроение:

– А все-таки, ты знаешь, Венька, работа у нас, вот я думаю сейчас, очень неважная. Хуже, наверно, ни у кого нету…

Венька посмотрел на меня недоуменно.

– Работа тебе не нравится? Ну что ж, можешь бросить…

– Да не в том дело, – смутился я. – Но ведь правда, у нас такая работа, что мы все время точно неприкаянные. А вот такой человек, как Узелков, везде пройдет…

– Брось ты этого Узелкова. Надоело, – поморщился Венька. И вышел на улицу, унес письмо.

Вернувшись, он сейчас же разделся и лег спать. Я тоже лег и погасил лампу. И уже впотьмах спросил:

– А как ты считаешь: если мы, допустим, не запишемся в рабфак, но будем читать только те книги, которые проходят в рабфаке, можем мы получить такое же образование, как все?

– Утром поговорим, – сказал Венька.

Утром на пустыре наш начальник оглядывал уже восстановленные полностью аэросани. Пахнущие свежей краской, они стояли на пушистом снегу, как гигантский кузнечик. И начальник, похлопывая по их темно-зеленому корпусу, говорил:

– Теперь мы сможем пройти куда хочешь. В любую погоду. Сможем прощупать медведя в самой его берлоге, когда он нас и не ждет вовсе…

– За проходимость этих саней я теперь целиком и полностью ручаюсь, – заверял начальника, вытирая паклей руки, механик. – Везде, повсеместно пройдут…

– Как Узелков, – подмигнул мне Венька. И я понял, что он ночью тоже думал об Узелкове, но только, может быть, из самолюбия не хотел лишний раз говорить об этом.

А сейчас сказал и улыбнулся. И я улыбнулся. И в ту же минуту Узелков как будто перестал интересовать нас.

Нам опять было некогда. Начальник собирал, как он говорил, весьма ответственную экспедицию в Воеводский угол.

Мы с Венькой побежали домой, чтобы одеться потеплее.

У ворот уголовного розыска Веньку, задержал наш сухопарый фельдшер Поляков.

– Я хочу, товарищ Малышев, сегодня еще раз посмотреть твое плечо. И еще я намереваюсь показать тебя приезжему доктору Гинзбургу…

– Некогда мне, Роман Федорович, – сказал Венька. – Я уезжаю сейчас, сию минуту…

– Ну, тогда смотри! – погрозил Поляков. – Я в таком случае снимаю с себя всякую ответственность…

– Снимайте, – весело сказал Венька.

Уже самая возможность дальней поездки на аэросанях воспламенила нас.

Венька боялся, что Поляков, осмотрев его плечо, помешает ему поехать в Воеводский угол.

Мы забыли обо всем, когда наконец, тепло одетые, уселись в эти необыкновенные сани.

Механик, уже облаченный в шоколадного цвета кожаное пальто, застегнул на подбородке две пуговицы от кожаного же шлема, натянул только что выданные рукавицы с длинными отворотами, нажал ногой на рубчатую педаль, передвинул рычаг с костяным набалдашником. И сани, осторожно выкатившись из города, вдруг с хрустом, с треском и завыванием помчались по необозримой снежной поляне, оставляя позади себя на пушистом снегу тройной след от широких лыж.

Нет – казалось мне в детстве, в ранней юности и кажется до сих пор, уже изрядно побродившему по разным краям, – нет на свете красоты, способной затмить в нашей памяти красоту, и величие, и волшебство могучей сибирской природы.

Даже зимой, когда леса и реки, равнины и горы укрыты снегами и охвачены крепчайшими морозами, сам простор неоглядный вселяет в душу невыразимую радость, внушает бодрость и настраивает на особо торжественный лад.

8

Где-то в глубине тайги, в глухих чащобах, под укрытием из смолистых коряжин или каменных плит, расщепленных дождями, и ветрами, и морозами, притаились до поры в своих душных берлогах матерые медведи. И так же до поры до времени притаился где-то здесь в снегах со своей неуловимой многочисленной бандой знаменитый Костя Воронцов, неустрашимый кулацкий сын, «император всея тайги», как он сам называет себя то ли в шутку, то ли всерьез.

Только пар от медвежьего дыхания, оседающий подле берлоги и мгновенно застывающий в морозные дни в виде блесток пушистого белого инея, показывает, где величественно почивают медведи. И все население тайги – и косуля, и заяц, и лиса – почтительно и робко обходит жилища хозяев леса.

И так же робко обходят и объезжают бандитские логова жители заимок и деревень.

Впрочем, не все, далеко не все робеют здесь перед Костей Воронцовым. Некоторые даже с надеждой взирают на его банду. Может, Костя еще утвердится по-настоящему. Может, ему как-нибудь помогут из-за границы. Может, он в гамом деле станет «императором всея тайги».

Ведь не первый год его колошматят разные ударные группы и ОГПУ, и уголовного розыска.

Летом прошлого года особый отряд сильно потрепал его банду и здесь, в Воеводском углу, и в Колуминском уезде, куда уходила она от преследования. Казалось, что от банды его остались только жалкие охвостья, которые легко доколотит уголовный розыск. Поэтому особый отряд продвинулся дальше на восток, чтобы там громить еще большие банды.

К тому же в конце лета пронесся слух, что Воронцов утонул во время переправы. Рыбаки будто где-то выловили его труп.

Об этом была напечатана заметка в губернской газете «Знамя труда». И в заметке было высказано такое суждение, что с бандитизмом вообще, будет скоро покончено.

Воронцов, однако, обманул всех. Глубокой осенью он опять объявился в Воеводском углу.

Здесь, в знакомых местах, он и зазимовал, стягивая к себе остатки разбитых отрядов и отрядиков, в которых верховодили колчаковские

офицеры.

Может, он знает какой-то секрет неуловимости. Может, он еще войдет в полную свою силу. А там, глядишь, наступят перемены и в Москве. Может, все еще повернется обратно к старому.

Очень бы хотелось богатым сибирским мужикам, чтобы все повернулось к старому.

Однако надежд своих они открыто не высказывали и даже делали вид, что политика их вовсе не интересует. Мы народ, мол, темный, таежный. Пусть, мол, там уже где-то в городах решают, какая политика будет получше. А наше дело – хлебопашествовать, смолокурничать, выжигать древесный уголь, промышлять пушного зверя и сплавлять по быстрым рекам строевой лес.

Этот лес шел всегда даже в Англию. А пушнину охотно брали и во Францию, и в Германию, и в Америку.

Не худо жили в Воеводском углу. Хотя, конечно, не все здесь жили хорошо.

Здесь, как повсюду, были богатые и бедные. И бедных, как водится, было больше, чем богатых.

Бедным могла бы понравиться Советская власть. Но она здесь еще не дала того, что сразу почувствовали бедные крестьяне Центральной России. Она не распределяла помещичьих земель, которых не было здесь.

Она пока что не столько давала, сколько брала. И не могла не брать. Она брала в первую очередь хлеб, чтобы поддержать голодающее население центральных губерний.

Она обещала дать взамен по дешевой цене и в скором времени сарпинку и ситец, керосин и соль. Но пока что обещания свои она выполнить не могла.

Она недавно отвоевалась, совсем недавно приступила к хозяйственным делам, эта новая власть, разгромившая тут, в Сибири, Колчака. Ее нехватки, просчет, неопытность были пока еще виднее ее преимущества. И этим пользовались противники новой власти, запугивая темное, суеверное население грядущими бедствиями.

– Грядет сатана во образе человеческом! – провозглашал с амвона сельский священник и указывал приметы сатаны, удивительно совпадавшие с приметами всего нового, что входило в эти годы в жизнь вместе с Советской властью.

И новые школы, и избы-читальни, и медицинские пункты; организованные в самых глухих таежных углах в первые советские годы, противники власти объявляли делом сатаны, дьявольским наваждением.

Нелегко было тем, кто насаждал новые порядки. Да и тем, кто симпатизировал им, было не легче, когда на каждом базаре, в каждой потребиловке только и шли разговоры о том, как наказывает Костя Воронцов активистов Советской власти, как нещадно он губит сельсоветчиков и кооператоров, избачей и заезжих лекторов, всех пропагандирующих Советскую власть.

А его покарать Советская власть все еще не может. Нет, никак не может. Воронцов угрелся в самых надежных чащобах тайги, куда не проедет, не пройдет сейчас по глубокому снегу ни конный, ни пеший.

Снегу намело в эту зиму видимо-невидимо. Однако снег на равнинах и на таежных полянах уже тяжелый – предвесенний.

Только что отгуляли с дракой, с лаем и мяуканьем бурные свадьбы свои лисы, рыси и росомахи.

Скоро и медведи начнут грузно поворачиваться в берлогах, начнут чесаться, скоблить когтями подошвы лап.

Скоро снег просядет, побуреет и сойдет.

Медведи выберутся на простор, пойдут искать пользительный медвежий корень – этакие луковицы, что растут потаенно на увалах, под камнями.

Подоспеют к этому времени и синие цветочки пострела, и почки на молодом осиннике – все, чем любит питаться медведь в первые дни весны.

Все уготовано для него заранее, в положенные сроки.

И так же заранее бандитские связчики, богатые мужики, что живут нетревожимо на заимках и в деревнях, заготовят все необходимое для Кости Воронцова: и боеприпасы, и продовольствие, и подходящих лошадей. И составят списки тех, кого накажет «император всея тайги» лютой смертью за надежды на лучшую жизнь.

Вот в какое время едем мы в Воеводский угол. Мы, конечно, и не рассчитываем захватить банду Кости Воронцова в ее логовах. Для этого у нас сейчас не хватит сил. Мы хотим только еще раз познакомиться с условиями, в которых будем действовать весной, и летом, и глубокой осенью.

А пока на равнинах, и горах, и на вершинах глухо шумящих лесов все еще искрится чуть отливающий голубизной снег. И когда наши аэросани с протяжным завыванием и треском поднимаются в гору, видно издали, как чернеют среди снегов заимки и деревни, расположенные близ пока недвижимых, замерзших рек. Видно, как синеют дымки над трубами. И хочется думать, что здесь течет мирная жизнь. Но мы-то знаем, что это не Так.

В деревне Сказываемой, что вон еле виднеется у самого края леса, недавно заживо распяли на кресте молоденькую приезжую учительницу. Говорят, она хотела организовать здесь комсомольскую ячейку. И больше ничего о ней не говорят.

Старший милиционер Семен Воробьев, прибывший на место происшествия на своей мохнатой кобыленке, увидел учительницу уже мертвой, раздетой донага. Виновных обнаружить ему не удалось. И следов, ведущих из глубины тайги, из тех мест, где скрываются, по слухам, банды, он тоже не нашел.

Не нашел он виновных и в таких деревнях, как Мачаево, Солотопы и Варнаки, где недавно неизвестные преступники убили заезжего доктора, разоблачавшего знахарей, сожгли в избе-читальне избача, повесили селькора и утопили в проруби двух активных делегаток.

Не успевает старший милиционер Семен Воробьев вовремя объехать весь обширный свой участок, на котором, как утверждают лекторы, могут разместиться без труда, не толкаясь локтями, две Швейцарии.

Воробьев приезжает к месту происшествия каждый раз, когда преступление уже совершено. Да и что он может сделать, если он только считается старшим милиционером, а младших тут вовсе нет?

Не хватает еще у Советской власти средств на содержание больших штатов. И Воробьев надеется в своей опасной деятельности только на поддержку активистов из населения. Их немного, но они все-таки есть. Есть серьезные, стойкие люди, добровольно помогающие Воробьеву.

Война оставила в деревнях и на заимках немало оружия. Его припрятали и те, кто связан с бандитами, и те, кто обороняется от бандитов.

Воробьев все время изучает население, вглядывается в него, выясняет, кто чем дышит. Но все-таки неважно идут дела у Воробьева.

Наш начальник, остановив аэросани у деревни Дымок, вызывает к себе старшего милиционера, долго, надев очки, просматривает протоколы дознаний, составленные старшим милиционером, хмурит густые заиндевевшие брови, сердито, натужно сопит. Потом спрашивает:

– Для чего ты это пишешь, Воробьев?

– Ну как для чего? Для представления…

– Вот именно, для представления, – говорит начальник. – Только для представления ты это и пишешь, а не для дела. А это значит что? Это значит, что ты сам себя не оправдываешь. Не оправдываешь возложенную на тебя… Чего?… миссию. Вот именно…

– Не оправдываю, – скорбно соглашается Воробьев. – Это я сам

чувствую, что не оправдываю эту, как говорится, как вы сказали… Это правильно. Не оправдываю. Иначе и вам бы не пришлось приезжать сюда на такой тем более шумной машине. Я бы сам лично поймал и Кинстинктина Воронцова, ежели б это в моей силе и возможности…

– Значит, ты это признаешь?

– Признаю.

– Ну, тогда садись к нам в сани, – говорит начальник. – Будем действовать вместе.

У Воробьева застывают в испуге выкаченные глаза.

Вообще-то бесстрашный человек, не однажды простреленный и заживлявший свои раны целебными травами, он сидит сейчас, уцепившись обеими руками за сиденье, и его, похоже, бьет лихорадка.

Он приходит в себя, только когда аэросани, обогнув неоглядную снежную равнину, останавливаются.

Начальник приказывает нам стать на лыжи, чтобы без шума пройти по заимкам, где живут, как известно Воробьеву, заядлые бандитские связчики.

На заимке Распопиной и у Пузырева озера проживают две любовницы Кости Воронцова – Кланька Звягина и Анфиса Большакова. Говорят, что с Анфисой он больше не живет, он будто бы еще прошлым летом ее бросил. А на Кланьке Воронцов предполагает жениться в официальном порядке, как утверждает Воробьев. Уж больно хороша она, по мнению Воробьева. Не девка, а просто ягода, огонь.

Нет, мы не собираемся их арестовывать, этих любовниц. Мы даже не берем с собой Воробьева, чтобы никого не пугать его новенькой, недавно выданной милицейской формой.

Он вместе с начальником и механиком остается у аэросаней.

А мы, шесть сотрудников, по двое разбредаемся на лыжах по ближайшим и дальним заимкам, или, иначе сказать, по хуторам.

За последнее время у нас скопилось немало агентурных сведений из Воеводского угла. Не все они проверены. Вот случай, когда хоть некоторые можно проверить.

Можно проверить кое-что и из показаний арестованных бандитов. Все-таки мы не напрасно так долго возились с остатками банды Клочкова. Кое-что мы из них выудили. И даже Лазарь Баукин, наверно, не все сочинил на допросах перед своим побегом. Не может быть, что он все сочинил.

Я во всем доверяюсь Веньке. Я и должен ему доверяться как помощнику начальника по секретно-оперативной части. Его память хранит десятки фамилий, адресов, фактов. И он уверенно идет на своих коротких и широких лыжах впереди меня, вдоль кромки тайги, по искристой снежной

целине, то спускаясь в низину, то взбираясь на пологий увал.

Исключительно для порядка, может быть, он советуется со мной:

– Давай махнем прямо на Распопино? А по дороге в Шумилово зайдем…

– Давай, – соглашаюсь я, хотя не очень ясно представляю себе, где это Распопино и где Шумилово.

В Воеводском углу я был всего один раз, прошлым летом во время крайне неудачной операции, когда тут убили двух наших сотрудников. Но это произошло, мне помнится, где-то недалеко от тракта, близ деревни Гудносовой. А сейчас мы забрались, должно быть, в самую сердцевину Воеводского угла.

Венькины лыжи хрустят и повизгивают, прокладывая след в непромятом снегу, а мои почти неслышно скользят по готовой лыжне.

Венька отталкивается только одной палкой. Вторую он зажал под мышкой. Наверно, у него все еще болит плечо.

Я говорю, догоняя его:

– Может, мы немножко отдохнем?

– Ты что, устал?

– Нет, но у тебя плечо…

– А, ерунда! – говорит Венька, опять спускаясь в низину. И кричит обрадованно: – Гляди, гляди, дымки! Это Шумилово. Значит, до Распопина отсюда восемь верст. Ну, не восемь. Это только так считается. А верст двенадцать будет.

Мы спускаемся в низину, потом подымаемся на крутой увал, и нас обдает среди снежного холодного сияния горячим и острым запахом спиртового пламени. И к этому запаху тотчас же примешивается густой и тошнотворный запах барды.

– Вот сукины дети! – останавливается Венька.

В Дударях и в ближних к Дударям деревнях мы вывели за последние месяцы почти всех самогонщиков. Во всяком случае, если там еще и гонят, то в строжайшей тайне – так, чтобы и запах дыма не проникал на улицу.

А здесь самогонщикам раздолье. Никто не тревожит их.

И мы не потревожим. Мы сворачиваем в Шумилово, чтобы, как говорит Венька, навести справки.

Я остаюсь на улице, а Венька ходит по избам. Благо их здесь всего девять. И он заходит не во все.

О чем он разговаривает в избах, я и не знаю. Я могу только догадываться.

В одной избе он сидит минут двадцать и выходит из нее растерянный.

– Не знаю, правда или нет, – говорит он мне, – но жена Баукина божится, что мужа не было…

– Какого мужа?

– Ну, Лазаря Баукина. Забыл, что ли? Это ж его изба…

Я с удивлением смотрю на заваленную снегом избу с покосившейся колодой окна, с разрушенным крыльцом.

– А жене недавно коня дали, – продолжал Венька. – Ну не дали, а вроде продали, но по дешевке, как беднячке. Наверно, действительно не знают, что у нее муж бандит…

Венька заходит в крайнюю избу. А я стою на улице и смотрю на крышу баукинской избы и на окружающие ее постройки, на изломанное полотно ворот, укрепленное на двух могучих столбах из лиственных бревен, врытых, может быть, полстолетия назад. Да, хозяина здесь, видать, давно не было…

Из крайней избы Веньку провожает на крыльцо рослый мужик в домотканой рубахе без опояски, с черной, наискось опаленной бородой. Они о чем-то продолжают негромко разговаривать. Потом, уже спустившись с крыльца, Венька спрашивает:

– Бороду-то где ты опалил? У аппарата?

– Ну да, у него, комуха его задави! – смеется мужик. И теперь я замечаю, что он пьяный.

Ему и в голову, наверно, не приходит, что мы из уголовного розыска, а то зачем бы ему так весело признаваться, что бороду он опалил у самогонного аппарата?

– А милиционер-то этот, Воробьев, вас не беспокоит? – еще спрашивает Венька, становясь на лыжи.

– Да как не беспокоит! Надоедает. На той неделе здесь был. Штраф требовал. Говорит: «Посажу». Да ну его к козе под хвост…

Конечно, этот мужик не догадывается, кто мы и откуда. По виду нас можно принять за кого угодно, но только не за работников уголовного розыска.

И в Жалейках и в Карачае, где мы останавливаемся ненадолго, никто не обращает на нас особого внимания.

9

Только в Распопине после краткого разговора Веньки со стариками нас сами жители начинают почтительно называть модным для той поры словом «представители». И девчушка в огромных валенках на босу ногу, скатившись с крыльца, кричит:

– Эй, тетка Матрена, заходите к нам! У нас в избе представители сидят. Будут сейчас политическую беседу проводить…

И вот мы с Венькой, пробежав на лыжах по снежной целине верст десять или пятнадцать, сидим в просторной, теплой избе, пахнущей сушеными грибами и травами, свежевыдубленной овчиной и печеным хлебом.

Нас окружают разные люди – старики и молодые, женщины и мужчины, хозяйственно-спокойные, с благообразными лицами.

Не верится, что среди них есть бандиты или сочувствующие бандитам, способные заранее приготовить крест и потом, не дрогнув, заживо распять на том кресте молодую учительницу. Не все же тут бандиты. Но бандиты здесь все-таки есть.

И поэтому мы с Венькой, беседуя, как говорится, не развешиваем уши. Мы даже сидим не рядом, а на некотором расстоянии друг от друга: он – в углу, под образами старинного письма, под огромной, в бронзовой оправе лампадой, а я – у самых дверей, на широкой, чисто выскобленной лавке – с таким расчетом, чтобы в случае опасности не оказаться зажатым в этом сборище с виду добродушных и в то же время настороженных людей.

Беседу ведет почти все время Венька, а я молчу, и мне больше всего хочется поскорее, пока светло, уйти отсюда и двинуться дальше. Может, нам еще сегодня удастся увидеть Кланьку Звягину. Правда ли, что она так хороша, как рассказывает Воробьев?

Но красивых и хорошеньких сейчас вокруг нас немало. Даже обидно, когда смотришь на некоторых, что они так далеко живут, что их тут немногие видят.

Иную неплохо бы вывезти куда-нибудь в Иркутск, в Красноярск, в Ново-Николаевск или даже в Москву, чтобы все посмотрели, какие у нас в Сибири, в глухих, таежных местах, красавицы обитают, выросшие на просторе, на чистом воздухе, выкормленные густым молоком, очень жирным, как сливки, пахнущим цветами и травами.

В избу набивается все больше народу.

Люди стоят уже плотно друг к другу, прислонившись к стенам и наваливаясь на стол, за которым сидят Венька и хозяева избы – степенный дедушка с блестящей, голой, словно намазанной маслом головой и с жидкой седенькой бородкой, его молоденькая дочка с быстрыми, жадными глазами, в красной с белыми горошинами кофточке, и старуха жена, костистая, суровая, дышащая открытым ртом, в котором желтеет на нижней десне единственный зуб.

В избе становится душно.

Я разглядываю каждого человека, чтобы угадать, кто он, как настроен, не замышляет ли в этот момент какой-нибудь выходки против нас, нет ли с ним оружия.

Угадать это, однако, нелегко.

На собраниях говорят и в газетах пишут, что бандитов поддерживают кулаки. И это, конечно, правильно говорят и пишут. Но среди бандитов и бандитских связчиков, мы точно знаем, много бедняков, много бывших солдат. И даже есть такие, кто в гражданскую войну дрался на фронтах за Советскую власть, а сейчас вдруг свихнулся, вроде разочаровался, вернувшись на родные таежные заимки, сбитый с толку, как мы считаем, кулацкой агитацией и угрозами.

О Советской власти на таежных заимках все еще из уст в уста передают чудовищные легенды, потому что до сих пор не всем, далеко не всем понятны ее истинные цели.

И Венька потому правильно делает, что рассказывает людям, теснящимся в избе, – кто бы они ни были, кулаки или подкулачники, – о последних решениях Советской власти. Но я все-таки нервничаю. Мне кажется, что он уж слишком подробно рассказывает, а время у нас на счету. Не успеем мы, пожалуй, еще сегодня дотемна пройти на самые дальние заимки… А ночью идти опасно.

Хозяин, погладив свою голую, блестящую голову шершавой ладонью, спрашивает Веньку:

– А как же, милочек, с бабами будет? Бухтят такое – правда или нет, что их потом в коммунию будут сгонять, для комиссарского вроде развлечения…

Венька разъясняет, что это ерунда. Советская власть, напротив, жалеет баб и считает, что их нужно называть женщинами. Это раньше, при царе, баб обижали, заставляли тяжело, непосильно работать, а теперь Советская власть такого не позволит.

Женщинам приятны эти слова. Они довольно пересмеиваются между собой. И заметно, им нравится Венька – с виду веселый, светлоглазый,

светловолосый паренек с широкой, выпуклой грудью, с сильными и свободными движениями.

Он и сам, наверно, чувствует, что люди с удовольствием смотрят на него. Он как будто разгорается от этих взглядов и говорит все с большим увлечением. А я уже сержусь на него.

Я сержусь и одновременно удивляюсь уверенности, с какой он говорит обо всем и ссылается в подтверждение этих слов на речи Ленина, опубликованные в газетах.

– А Ленин-то, он что же, сам из немцев будет? – перебивает Веньку хозяин избы.

– Кто это сказал такую ерунду?

– Ну как же! Прошлый раз тут гостил один студент, тоже, как вы, представитель. Так он вроде так объяснил, что Ленин из немцев…

Мы начинаем осторожно выяснять, кто этот студент, когда и откуда он приезжал, о чем еще рассказывал. И убеждаемся, что это был бандитский представитель. Значит, банды не только грабят и убивают, но и посылают на заимки своих агитаторов даже в зимнее время. А мы сидим в Дударях и ждем весны. Плоховато мы все-таки работаем, плоховато.

Венька говорит:

– Этот студент, про которого вы рассказываете, набрехал вам. Он, как я считаю, злейший враг Советской власти.

– А мы-то откуда можем знать, кто тут враг и кто друг! – как бы извиняется хозяин избы. – Мы бумаг ни у кого не спрашиваем. А сельсовет от нас далеко. Да и толку от него никакого нету, от сельсовета. Только название, что власть…

– Нам любая власть хороша. Лишь бы она нас не забижала, – добавляет сухонький, опрятный старичок, сидящий недалеко от меня на лавке. – Мы ведь от леса кормимся, от тайги…

Венька сразу ухватился за эти слова. Заговорил о том, что Советская власть со временем и тайгу изменит. Ученые сейчас пишут, что в тайге, прямо тут, у нас под ногами, в недрах зарыты огромные богатства: и железная руда, и каменный уголь, и золото. Все это Советская власть заберет в свои руки и построит тут заводы и города.

– Вон что! – удивился Венькиным словам сухонький старичок. И спросил: – А нас-то, милый человек, куда же вы в таком случае определите?

– Тебя, дедушка, на мыло, – сказал кто-то в толпе. – Всех стариков переведут на мыло…

В толпе засмеялись.

– На мыло? – переспросил старик, видимо тугой на ухо.

– На мыло, на мыло, – подтвердил опять кто-то, и от подоконника отделился курчавый пожилой мужик с сердитыми глазами и рыжей, кругло подстриженной бородой.

Мне показался он похожим на Лазаря Баукина. Но в первое мгновение я не поверил собственным глазам. Неужели он так спокойно может тут стоять и даже выкрикивать насмешливые слова? Ведь он-то уж знает, кто мы и откуда…

Я заметил, что и Венька чуть смутился, увидев его. Однако Венька не осекся, продолжал рассказывать о том, что мы сами с ним узнали недавно на лекции, прочитанной заезжим лектором в клубе имени Парижской коммуны. Он говорил, какие заводы вырастут в самой глухой тайге.

– А птицы и звери куда же подеваются? – опять спросил все тот же сухонький, тугоухий старичок.

И опять почему-то все засмеялись.

– Птицы и звери? – переспросил Венька.

И я понял, что он сам не знает, куда денутся птицы и звери, когда тут, в тайге, появятся заводы. О птицах и зверях не было никакого упоминания в той лекции, которую мы слушали в клубе. Да и для чего это надо было тут заводить разговор о зверях и птицах?

Время идет. Короткий зимний день уже на исходе. И неизвестно еще, где мы будем ночевать.

Предполагалось, что мы пройдем через Девичий двор и Петуховский яр на Большие выселки, где, наверно, заночуем, и утром выйдем на Проказово, чтобы встретиться с начальником. Но пока, по-моему, все идет не очень складно.

– Птиц и зверей никто уничтожать не собирается, – говорит авторитетно Венька. – Птицы и звери, конечно, останутся в лесах, должны, словом, по идее, остаться и при полном социализме…

– А жиганы?[1]

Это спрашивает молодая румяная женщина в пестрой косынке, натянутой на самые брови, под которыми смеются милые и дерзкие глаза.

– А что, у вас тут много жиганов? – как бы удивленно спрашивает, в свою очередь, Венька, поднимая голову и разглядывая женщину в толпе.

– Да есть, – уклончиво ответила женщина. – А где их нету-то!

– Их, пожалуй, не скоро переведешь, – вздыхает старичок. – Птиц и полезных животных, пожалуй, скорее лишишься. А жиганы, они небось цепкие. Их и сама Советская власть боится…

Венька улыбается или, лучше сказать, заставляет себя улыбнуться.

– Неужели боится?

– Боится, – подтверждает сухонький старичок. – Это как бог свят, боится. Кажись, в декабре месяце тут трое приезжали из Дударей. Насчет продовольственного налога. Так разве что только пушки при них не было. А так они все в ремнях, при гранатах и пистолетах. И все быстренько, быстренько делают. Без особого разговора. Лишь бы поскореичка отъехать на лыжах. Мы им тут вопросы разные задавали, а они лишь помалкивают. «Нам, говорят, до сельсовета поскореичка надо добраться…»

– Ну, это какие-то барахольщики были, – говорит Венька. – Они, наверно, сами себя боятся…

– Барахольщики не барахольщики, а помирать, как я замечаю, никому неохота, – опять вступает в разговор хозяин избы. – У нас вот нынешний год пятого председателя в сельсовет поставили. Двоих убили. Двое сами отказались от должности. И теперешний, видать, трясется. Даже нос не высовывает дальше своей избы…

– Серьезное дело, – говорит Венька.

– Уж сурьезнее дальше некуда, – разводит руками хозяин и внимательно оглядывает Веньку и меня. – А вы что же, без всякого орудия? Представители, а ничего, я гляжу, при вас нету…

– Ничего нету, – смеется Венька.

– Выходит, очень смелые?

– Еще, видать, не битые, оттого и смелые, – произносит кто-то в углу.

И все смеются.

– Смеяться-то будто бы не от чего, – хмурится хозяин избы. – Одна баба даве сказывала, Мелентьева сноха, будто в Петуховом яру в потребиловке в субботу своими ушами слышала приказ, коей вышел от Кости Воронцова. Будто он даже на специальной машинке был напечатанный и наклеен на дверях в потребиловке. В том приказе сказано: коммунистам, всем и каждому в отдельности, будет вырезаться на грудях и на спине острой бритвой красная звезда, как знак особый и вечно памятный…

– Вот как! Значит, Костя сам где-то в потаенном месте, а приказы от него идут и идут? И даже на специальной машинке?

– Истинные слова, на машинке. Он прошлой осенью разбил на золотых приисках контору, забрал много чего. И машинку увез. Теперь все печатает на машинке. Для большей, стало быть, ясности…

– Безнаказанность, – подводит итог этому разговору благообразный лысоватый человек с длинными волосами, заправленными за уши, похожий на дьячка. Но не сокрушается по поводу безнаказанности, а, пожалуй,

злорадствует. – Клочкова, напечатано в газете, будто бы убили в Золотой Пади, а четырнадцать жиганов из его компании ушли. («Не четырнадцать, а три ушли», – хотел бы я поправить его, но я молчу. И Венька молчит.) И ведь куда ушли? Прямо к Воронцову. Вот уж действительно, на самом деле, ничего не скажешь – «император всея тайги»…

Я делаю вид, что разглядываю собственные валенки. Потом поднимаю глаза и опять вижу против себя того курчавого мужика с ярко-рыжей, кругло остриженной бородой, который говорил, что всех стариков будут переводить на мыло. Конечно же, это Венькин «крестный» Баукин, Лазарь Баукин, убежавший из нашей бани. Он-то уж точно знает, сколько жиганов ушло. Он бы мог дать точную справку. Но он только усмехается и молчит. Выглядит он лучше, чем в дни нашего первого знакомства, – поздоровевший. И одежда на нем другая – новый стеганый ватник, а под распахнутым ватником чистая холщовая рубаха с крупными белыми пуговицами. Значит, живется ему неплохо. И он, как видно, ничего не опасается.

Он стоит недалеко от меня. Но между нами еще два или три человека. И я разглядываю его как бы из укрытия.

Наконец, может быть, почувствовав на себе мой внимательный взгляд, он надевает шапку и выходит. Шапка у него большая, медвежья.

10

За окном сгущаются сизые сумерки.

Нам бы еще засветло надо было выйти отсюда на Большие выселки. А мы вон досидели до какой поры и ничего особенного толкового здесь не высидели. И продолжаем сидеть.

Венька отвечает теперь на вопросы о налогах. Это уж черт знает что. При чем здесь налоги?

И опять его спрашивают про заводы, которые, может быть, когда-нибудь тут выстроят.

А может, их и никогда не выстроят, а нас сейчас, когда мы выйдем, подкараулит на дороге тот рыжий бандюга Лазарь Баукин. Да подкараулит не один, а с компанией, и не доживем мы ни до каких заводов. И до социализма не доживем.

Я уже сильно сержусь на Веньку.

Молодая хозяйка в красной с белыми горошинками кофточке спрашивает, не выпьем ли мы чайку или в крайности молочка.

– Молочка выпьем, – говорит Венька.

И вот мы пьем молоко. А сумерки за окном все сгущаются. Может, Венька тут собирается ночевать?

Нет, попив молока, он ладонью вытирает губы, благодарит хозяев, прощается, я тоже прощаюсь, и мы выходим во тьму.

Некоторое время молча идем по хрустящему снегу, закинув лыжи на плечи, и с удовольствием вдыхаем после душной избы легкий морозный воздух.

– Позор, – наконец говорит Венька, когда мы проходим мимо тускло мерцающих окон избы. – Просто позор. Какой-то беглый студент пришел, чего-то такое набрехал мужикам, и все как будто так и надо. Как будто и Советской власти нет. Ерунда какая! Даже не верится, что тут так живут. Как на острове. Никто с людьми не разговаривает, ничего не объясняют. Мы вот только с тобой немножко с ними потолковали…

– Ну и немножко! – усмехаюсь я, все еще сердитый на Веньку за то, что мы так долго просидели здесь и теперь впотьмах должны идти еще неведомо куда. – И вообще я считаю, это не наше дело – тут разговоры разводить…

– А чье же? – Венька тоже заметно сердится. – Ты что, считаешь, что ты не обязан разговаривать с людьми как комсомолец…

– Обязан, но мы все-таки не для этого приехали…

– А для чего?

– Ну откуда я знаю! Я думал, у начальника или у тебя есть какой-то план…

– А у тебя какой план? – Венька даже остановился, точно загораживая мне путь. И я увидел, как у него блестят глаза во тьме. – У тебя-то, я спрашиваю, есть какой-нибудь план?

– Чего ты придираешься? При чем тут я? Если б меня спросили, я вообще все не так бы повел…

– А как?

– Я привез бы сюда всех этих курсантов с повторкурсов, окружил бы каждую заимку и хотя бы ближние леса и начал выколачивать…

– Кого выколачивать? Население?

– Зачем население? Бандитов…

– А откуда ты знаешь, кто тут бандиты? – спросил Венька, положив свои лыжи на снег.

– Ну, можно все-таки понять, – я тоже снял с плеча лыжи. – Вот твой рыжий «крестный», этот самый Лазарь Баукин, открыто ходит по заимке. И еще насмехается. И мы с тобой ничего сейчас не можем ему сделать, а он…

Я хотел сказать, что Баукин еще сегодня подкараулит нас где-нибудь, но не сказал, не решился. Венька это сам знает, а если я скажу, он подумает, что я струсил и его пугаю.

Я сделал вид, что у меня не застегивается пряжка от ремня на креплении, и выругался, чтобы не продолжать разговор.

А Венька вдруг засмеялся. Может быть, он понял мою хитрость, понял, что я побаиваюсь и еще больше боюсь признаться в этом.

Мы сворачиваем к лесу. Он чернеет невдалеке, и кажется, что это не лес, а забор – высоченный каменный забор, а за ним еще видно здание с башнями и крестами на башнях.

Венька спрашивает:

– Ты как думаешь, кто это, у кого вот мы сейчас в избе были?

– По избе, по обстановке, я думаю, что кулак…

– Кулак – это еще пустяки. Это Усцов Елизар Дементьевич – очень крупный бандитский связчик. И еще старичок там был, который жиганов ругал, – это тоже связчик. Енютин. У него сын в клочковской банде действовал. Мы его убили в Золотой Пади.

– Правильно, – вспомнил я. – Один убитый действительно был, мы точно установили, Енютин.

– И этот Усцов тоже зятя потерял. Дочка его в красной кофточке

бандитская вдова. Мужа ее в прошлом году убили. А слышал, как они разговаривают? Птиц и зверей жалеют…

– А ты с ними разговорился, стал им что-то объяснять.

– Да им я, что ли, объяснял! Тут же всякий народ. И то обидно, что людям никто ничего не объясняет. И мы тоже хороши! Второй год тут крутимся вокруг да около, а толку мало.

– А эти старики так и не поняли, кто мы и откуда…

– Ну как не поняли! – засмеялся Венька. – Они тоже не дураки. Они и про оружие нас спрашивали неспроста. И похвалили за смелость, чтобы испугать. Это двойной народишко, с двойным ходом. Им палец в рот не клади. Откусят.

Венька отчего-то повеселел. Вынул из кармана ржаной сухарь, разломил его и дал половину мне.

Сухарь был присыпан крупной солью, прикипевшей, но не растворившейся в хлебе. Покусывать и сосать его сейчас было величайшим наслаждением.

– И еще имею брынзу, – сказал Венька и протянул мне кусок.

– Да ты погоди, – хотел я удержать его от расточительства. – Мы только что попили молока. А нам еще, наверно, идти и идти. Все сразу съедим, потом заплачем…

– Не заплачем, – опять засмеялся Венька. – Нам теперь недалеко до Больших выселок. Мы быстро добежим. Часа за два. Я тут летом был. Правда, я тогда на телеге ехал.

– А как у тебя плечо?

– Ничего. Ты знаешь, как будто даже лучше. Поначалу, когда палку берешь, больно, а потом ничего.

Мы идем не по дороге, хорошо наезженной, чуть поблескивающей во тьме, а почти рядом с дорогой, по глубокому снегу.

– А эту женщину, такую мордастую, в пестром платке, ты заметил? – спрашивает Венька.

– Это какую?

– Ну, которая сидела против меня, такая румяная, черные такие, немножко нахальные и все-таки немножко симпатичные глаза. Она еще спросила про жиганов, когда говорили про птиц и зверей…

– Ах, эта, – вспоминаю я, – которая натянула платочек на глаза?

– Так это же и есть Анфиса Большакова, которая жила с «императором». Но он ее, говорят, бросил. Дурак.

– Неужели это она? – удивляюсь я, и мне очень жаль, что я не рассмотрел ее как следует.

Правда, мне больше всего хотелось посмотреть Кланьку Звягину, которую сильно хвалил за красоту старший милиционер Воробьев. Она живет, он сказал, где-то у Пузырева озера. И я спрашиваю Веньку:

– А Пузырево озеро отсюда далеко? Мы сегодня туда не попадем?

– Ну что ты! Конечно, не попадем: это очень далеко. Нам бы только до Больших выселок добраться…

И Венька, продвигаясь впереди меня, заметно прибавляет ходу.

Наверно, у него уже в самом деле не болит плечо. Или он только бодрится. Но я едва поспеваю за ним по скользкому, чуть подтаявшему снегу.

Уж скорее бы, в самом деле, дойти до Больших выселок. Лыжи как будто разъезжаются в разные стороны. И к тому же начинается ветер.

– Похоже, будет пурга, – говорю я.

– Похоже, – соглашается Венька. – Но мы быстро добежим. Уже совсем недалеко. Только надо держаться дороги. Дорога тут прямая.

Дорога все время идет вдоль тайги, которая шумит на разные голоса. Будто там, внутри, в самой глубине, в чащобе, громко переговариваются люди, завывают волки и грозно мяукают огромные коты. Но это только кажется. Никого там нет.

Во всяком случае, можно поручиться, что близ заимки, близ дороги никого нет. И не может быть в такое время. А у страха глаза велики.

Не надо, однако, настраивать себя на всякие ужасы. Это первое правило не надо себя настраивать.

Просто в тайге, как всегда на сильном ветру, завывают ели, свистят голые прутья берез и трещат, ломаясь, неуклюжие ветви сосен. Все это вместе и создает разноголосый, пугающий шум.

Венька оглядывается.

– Ну, как ты?

– Ничего.

– Ну давай, нажимай! Тут уж совсем близко. До пурги добежим до Больших выселок. А там спать. Или, может, еще потолкуем с кем-нибудь. Тут, на выселках, есть наши люди, если… если их, конечно, не стукнули…

На дороге что-то большое чернеет. Чернеет и как будто шевелится. Ну да, шевелится. Может, это кони. Если кони, лучше всего попроситься доехать до Больших выселок.

Это Венька бодрится. Не может быть, чтобы у него так быстро зажило плечо. Это он бодрится. А нам еще и завтра ходить на лыжах. И послезавтра.

Мы приближаемся к тому, что чернеет на дороге, и теперь ясно видим,

что это не кони, а люди. И хриплый голос с дороги спрашивает:

– Веньямин, это ты?

– Я, – говорит Венька и, останавливаясь, снимает лыжи.

По голосу я сразу узнаю Лазаря Баукина. Теперь я хорошо вижу и его большую медвежью шапку. Она у него как котел на голове.

Я тоже снимаю лыжи и иду вслед, за Венькой к дороге.

– При этом разговора не будет, – показывает на меня Баукин.

Во рту у него торчит окурок. А когда он затягивается и окурок вспыхивает, видно, как посверкивают его злые глаза.

Недалеко от него стоят еще два мужика. Их смутно видно. Непонятно даже, молодые они или старые и что у них в руках – палки или обрезы.

– Ты меня тут подожди, – говорит мне Венька и переходит с Лазарем на другую сторону дороги, где стеной стоит ревущий черный зубчатый лес.

Немного погодя за ними в лес уходят и два мужика. Кажется, у них в руках обрезы или, может быть, охотничьи ружья.

А я стою на обочине. Пурга меня теперь не тревожит. Я тревожусь теперь за судьбу Веньки. И конечно, за свою судьбу.

На животе у меня, под телогрейкой, в кожаной петельке кольт. Он так хорошо приспособлен, что его незаметно, если смотреть со стороны. И там, в Распопине, в избе, не заметили, что мы с оружием. Даже лицемерно пожалели нас. Но нас жалеть не надо. Я вынимаю кольт из петельки и кладу за пазуху. Мало ли что может случиться!

При всех обстоятельствах Венька ведет себя рискованно. Если Лазарь хочет завести какой-то секретный разговор, при котором даже я не могу присутствовать, зачем же пошли за ними в лес эти два мужика? А вдруг они стукнут Веньку? Но тогда зачем они меня оставили? А может, они тут не одни? Может, у них тут расставлены посты? Может, они и меня после хотят стукнуть?

Мысли разные лезут в голову, но я по опыту знаю, что нельзя давать волю даже мыслям, чтобы потом не было стыдно. Это хуже всего – заранее перетрусить. Надо уж как-нибудь перетерпеть. И я стараюсь вспомнить что-нибудь веселое, что-нибудь самое смешное из своей жизни, чтобы развеселиться и успокоиться. Но ничего подходящего вспомнить не могу, хотя уже долго стою на обочине.

Наконец Венька выходит на дорогу и зовет меня.

А Лазарь Баукин и его товарищи так и не вышли из лесу. Может, они углубились в лес. Может, они там и живут, в лесу.

В лесу, в тайге, сейчас тише, чем на открытом месте. Шумят только вершины деревьев, а внизу – тихо. На дороге же вовсю разыгрывается

пурга. Мелкая колючая крупа бьет в лицо.

Даже Венька говорит:

– Смотри, какая ерунда начинается! Просто идти никак невозможно.

Теперь я пытаюсь успокоить его:

– Ничего. Ты же сам говорил, тут до Больших выселок недалеко. Добежим как-нибудь. Не больные…

– До Выселок недалеко, – останавливается Венька. – Но мы на Выселки не пойдем. Нету смысла. Мы сейчас махнем на Пузырево озеро.

Можно было бы напомнить Веньке, что он сам только что сказал – на Пузырево озеро мы сегодня не попадем, это очень далеко.

Но я ни о чем ему не напоминаю. И он не спрашивает моего совета. Тут уже вступают в действие не наши давние приятельские, а сурово служебные отношения. Я молчу. На Пузырево – так на Пузырево. Мне в конце концов все равно. Не я, а Венька старший помощник начальника по секретно-оперативной части. Я даже не спрашиваю, о чем он разговаривал с Лазарем Баукиным.

Я только смотрю, как он, расстегнув телогрейку, потуже затягивает ремень на гимнастерке. Я делаю то же самое. Потом он говорит:

– Ну, пошли! Нам сейчас дорога каждая минута. Придется идти часов пять, не меньше, если, конечно, по хорошей погоде. А в такую муть даже не знаю, когда дойдем. Но надо… Короче говоря, Лазарь дает нам в руки серьезную нитку. Дураки будем, если не ухватимся. Ну-ка, попробуем с этой стороны пойти…

Перепрыгнув через канаву, он опять встает на лыжи и молча бежит впереди меня.

Он по-прежнему пользуется только одной палкой. Вторую держит под мышкой. Видно, у него все-таки болит плечо, но он не хочет говорить об этом. Да и трудно сейчас говорить.

Даже дышать трудно. Мы долго молча бежим навстречу пурге. Вернее, не бежим, а еле-еле движемся.

Наконец нам удается обогнуть большой участок леса.

Венька сворачивает направо, и мы входим, как в аллею, в широкую просеку. Ледяная крупа бьет теперь нам в спины, дышать легче.

– Хорошо еще, что мы молока попили, – говорит Венька. – А то, не жравши, по такой дороге далеко не уйдешь.

– А еще далеко?

– Далеко…

Я отворачиваю обледенелый обшлаг рукава, зажигаю фонарик, смотрю на часы. Девятый час. Двадцать минут девятого. Значит, мы в пути больше

трех часов. А сколько нам еще идти?…

Из просеки мы выходим на поляну, и опять пурга с ревом накидывается на нас.

Венька останавливается, приседает. У него оборвался ремень на креплении. Он садится на снег. Я сажусь рядом с ним на корточки и хочу посветить ему фонариком.

– Не надо, – говорит он. – Тут открытое место. Свет далеко видно. А я и так все разгляжу. У меня глаза кошачьи.

Он достает из-за пазухи запасной сыромятный ремень, обрезает его ножом, привязывает.

– Хорошо отдохнули, – смеется он, снова становясь на лыжи. – Ну, пошли дальше! Лазарь говорит: «Это на ваше счастье такая погода. Кланя Звягина вас будет ждать…»

«Почему это она нас будет ждать? Откуда она нас знает?» – хотел бы я спросить. И самое главное, что мне хотелось бы понять: почему это Венька так доверился снова Лазарю Баукину, который уже однажды обманул его? И может быть, опять обманет. Но сейчас уж Венька прямо рискует своей головой.

«И не только своей, но и моей», – мог бы додумать я. Но почему-то не додумываю. Может быть, потому, что очень боюсь отстать от Веньки и забочусь только о том, чтобы не потерять его в пурге. В этой белой, холодной, кромешной тьме, облепляющей меня.

Я не вспоминаю даже о том, что мне самому еще недавно хотелось увидеть Кланьку Звягину. И вот сегодня я должен увидеть ее. Но сейчас это уж не так интересно мне.

Мы с большими усилиями пересекаем поляну. Ветер все свирепеет, бьет в лицо, словно толченым стеклом, старается сбить с ног. Нет, такой пурги еще не было в моей жизни.

Я останавливаюсь, почти падаю, кричу:

– Подожди, Венька! Подожди, тебе говорят!

– Что случилось?

– Хочу поправить шапку: может, не так будет бить в лицо. Очень сильно бьет. Ничего не вижу.

– Не обращай внимания! – кричит Венька. – Пойдем дальше. Сейчас опять будет просека.

– А еще далеко?

– Далеко.

Просека поднимается в гору. Гора совершенно голая. Ни одного кустика. Но с горы видно, как в низине сквозь пургу мерцают огоньки.

Значит, близко деревня. Я напрягаю все силы. Мне даже становится весело. Вот сейчас войдем в деревню. И что бы там ни было, мы согреемся. Может, попьем даже чаю.

Огни становятся все ярче. Где-то недалеко брешут собаки. Они, наверно, сами не знают, собаки, как нам приятно сейчас слышать их брехню. Пусть брешут еще сильнее, еще громче, еще яростнее.

Вот уж мы прямо набредаем на собак. Они где-то вон там, за высоким забором. Хозяева, должно быть, еще не спят. Конечно, не спят. Интересно, у каких ворот мы остановимся.

Мы идем вдоль высокого забора, за которым живет наверняка богатый мужик. У него, судя по разноголосому лаю, две собаки, а может, три. Значит, есть что охранять. Собаки гремят цепями по натянутой во дворе проволоке. Этого я не вижу, но представляю это себе.

Тут бы нам и остановиться, у этих ворот. Хозяин уймет собак, и мы войдем в дом. Но Венька продвигается дальше.

Мы проходим мимо нескольких домов и опять выбираемся в открытое поле, где крутит, и вертит, и истерически завывает пурга.

Я оглядываюсь. Позади нас остались чуть видимые теперь огоньки. Позади все еще брешут надолго потревоженные собаки. А впереди – непроглядная, злая, белая тьма и ветер с ледяной крупой.

Венька оглядывается на меня и кричит:

– Не шибко устал?

– Не шибко, – отвечаю я.

Но это уж я обманываю Веньку. Я не только устал, я просто еле живой. Мне теперь все равно. Я иду как во сне. Я могу упасть в снег и уснуть. Но я все-таки иду за Венькой.

11

Мы снова поднимаемся в гору. Гора отлогая, но высокая. Мы долго поднимаемся на нее. Или мне это только кажется. Я иду, как старая кляча, согнувшись, опустив голову. И опять слышу собачий лай и звяканье цепей на проволоке. Но это уже не радует меня.

Вдруг я, точно слепой, наталкиваюсь на Веньку. Оказывается, он остановился и поджидает меня. Лицо, и шапка его, и часть груди обросли пушистым белым инеем – куржаком.

Я, наверно, тоже весь в куржаке. Но я не вижу себя. А Венька с ног до головы пушистый и белый.

– Ну, теперь держись! – говорит он, срывает свою шапку и отряхивает ее об валенки, потом надевает опять. – Начинаем работать. Снимай лыжи. Не шибко устал?

– Не шибко.

Мы проходим мимо невысокого забора, за которым лают собаки, и останавливаемся подле большой избы с закрытыми ставнями.

Недалеко еще две избы, такие же большие. Они стоят не в ряд, а как бы треугольником. За ними можно разглядеть еще какие-то строения – амбары или стайки для коров и конюшни. Фасадами избы выходят на улицу, и прямо к фасадам примыкают заборы, или заплоты, как говорят в Сибири.

Венька поднимается на крыльцо самой большой избы и стучит лыжной палкой с короткими паузами три раза, потом еще три раза. За дверью в сенях женский голой:

– Кто там?

– Свои.

– Свои все дома.

– Не сочла Савелия, а он кланяться приказал.

За дверью с легким грохотом отодвигается щеколда.

– Милости просим, – пропускает нас в сени молодая женщина. Ее плохо видно в темных сенях, но от нее исходит приятный, чуть дурманящий душу запах молодого женского тела, только что оставившего теплую постель. – А я уж вас третий час жду. Погода-то самая подходящая – пурга. Потом думаю: а может, не придут? Прилегла.

– У тебя кто в доме? – хозяйственно осведомляется Венька. И, посветив фонариком, оглядывает углы сеней, ищет веник, чтобы обмести

валенки.

– Обыкновенно кто – крестный. Дедушка. На печке он. Все стонет к непогоде-то. Как домовой. Страшно с ним другой раз одной в пустом доме. Вот голик, – протягивает она веник. – Погодите, я вас сама обмету. Ох, как вы закуржавели! Из Самахи идете?

– Из Самахи, – подтверждает Венька, хотя ни в какой Самахе мы не были.

Женщина прошла из сеней в избу, зажгла на стене жестяную лампу. И теперь мы увидели, что она действительно молодая, красивая, с высокой грудью, с плавными движениями.

– Разболокайтесь, ребята, – помогает она нам снимать телогрейки. – А катанки и портянки давайте вот сюда, в печурку, поместим. Они живо подсохнут…

И тотчас же, как мы стянули с ног обледеневшие валенки, она поставила перед нами на полу две пары новых калош.

– Переобувайтесь, ноги живо согреются. Я недавно топила.

Она сняла со стола толстую, с бахромой скатерть и постелила другую, белую.

– У меня, ребята, первачок припасен. Просто божья роса, а не первачок! Я даже дедушке изредка подношу. Для взбодрения чувств. – И она засмеялась.

– Нет, – сказал Венька, – мы сейчас пить не будем. Так что-нибудь немножко закусить. А самогонку мы сейчас пить не будем. Даже первачок. Очень опасно. Тут же кругом теперь шныряют сыскари. Можно в любую минуту завалиться, если выпивши…

– Я знаю, знаю, – закивала красивой головой женщина и, перекинув косу со спины на грудь, стала заплетать ее длинными пальцами. – Говорят, их много, легавых, сюда понаехало на какой-то чудной машине. Трещит на всю Сибирь. Но сегодня, говорят, сломалась ихняя машина. У Пряхиной горы сломалась, в самой низине, где трясина…

Это уж показалось мне совершенно удивительным. Откуда женщина могла услышать про наши аэросани, если мы появились тут только сегодня, а аэросани остановились, может быть, в тридцати верстах от этой заброшенной в тайге заимки? Вот как здорово тут действует незримый таежный, или лучше сказать, бандитский, телеграф!

Женщина нарезала ароматного пшеничного хлеба, какого мы уж давно не ели, поставила на стол копченую рыбу, холодное мясо, нарезанное крупными кусками, блюдо с груздями, блюдо с квашеной капустой. И опять спросила:

– А может, все-таки отведаете первачка? Ведь не покупной, собственный. И с морозца, с этакой пурги, ох какой пользительный! Роса, божья роса! Я добавляю в него для духмяности мяту…

Мне сильно захотелось выпить. И что уж Венька так ломается? Что мы, захмелеем от одного лафитника? А вдруг я простыну? У меня до сих пор холодные руки.

– И я бы с вами выпила чуток. За здоровье Константина Иваныча. За его лихое, горькое счастье…

– Ну давайте, – наконец согласился Венька.

Просто так выпить он не соглашался, а за здоровье Константина Ивановича согласился. Знал бы Костя Воронцов, кто пьет в такую пургу за его здоровье. Или, может, за его верную погибель.

Женщина чокнулась своим лафитником со мной и с Венькой и, глядя в Венькины глаза, сказала:

– А вы знаете, я в первую минуту глянула на вас и чуток обомлела. Прямо ноги мои чуть подогнулись. С первого взгляда. Больно вы похожи на Константина Иваныча. Не лицом, нет, а фигурой. Конечно, вы пожиже будете в плечах, понятно, помоложе. Но в фигурности вашей есть что-то…

– Ну уж, придумала! – засмеялся Венька.

– Нет, верно, – настаивала женщина. – Да я сейчас вам карточку его покажу, какой он был в совсем молодых годах. Еще при царе.

Женщина пригубила от лафитника, потом подошла к большому, окованному и оплетенному полосками разноцветной жести сундуку, повернула ключ. Замок со звоном открылся, крышка откинулась.

Из глубины сундука, из-под каких-то материй, свертков, меховых шкурок, из нафталинного удушья женщина извлекла карточку и показала нам.

Костю Воронцова мы никогда не встречали, но много раз видели на снимках. Однако такой карточки у нас в уголовном розыске не было. Костя, красивый, молодой, в офицерской форме, сидел, раздвинув колени и развалясь на стуле. На коленях у него лежала шашка. А рядом с ним, опираясь на его плечо, стоял уже немолодой угрюмый офицер со скуластым лицом и тоже с шашкой.

– Это кто? – показал Венька на скуластого офицера.

– Вы что? – удивилась женщина. – Евлампия Григорьевича разве не узнаете? Это же Евлампий Григорьевич Клочков.

– Ах, правильно! – как бы вспомнил Венька. – Правильно, ведь это Клочков. У него только потом стало больше солидности…

– У него и чин был старше чем у Константина Ивановича, но он сам

считал себя младше. По уму. И пока он ходил под Константином Иванычем, все было хорошо. А как ушел, захотел отдельно воевать, так и погиб. Убили его сыскари. Константин Иваныч сказал: «Я за Евлампия тысячи комиссаров передушу. Вот как выйду весной из тайги, так и передушу». Да чего я вам рассказываю… Вы, верно, и сами слыхали, как он сказал. Теперь многие эти его слова и здесь передают. А раз Константин Иваныч сказал, он сделает. Он его очень уважал, Клочкова. Ну, давайте, – подняла тяжелый графин женщина, – давайте выпьем за упокой его души. За упокой души убиенного Евлампия Григорьевича.

– За упокой, кажется, не пьют, – усомнился Венька.

– Пускай не пьют, – опять наполнила лафитники женщина. – А мы давайте выпьем. Он мне все говорил, как выпьет: «Я тебя, Кланя, сам лично люблю, но не как женщину, а как изображение». Ведь он ужасно какой шутник был, царствие ему теперь небесное…

Вот уж никогда не думал, что нам, комсомольцам, когда-нибудь приведется выпить за упокой души штабс-капитана Клочкова, труп которого еще недавно валялся на снегу у нас, во дворе уголовного розыска. И вот мы выпили за него.

Женщина, заметно захмелев, погрустнела. Спрятав карточку и замыкая сундук, показала на него глазами и вздохнула:

– Что же это с Константином Иванычем-то? Подарки мне, видите, все время шлет, а сам не едет. Ай не желает видеться?

– Трудно ему сейчас. Понимаешь, трудно выбраться, – сказал Венька.

– Что ж трудного-то? – опять вздохнула женщина. – На прошлой неделе, я знаю, он в Капустине был. А от Капустина-то до меня шесть верст. Или его Лушка завлекла? Говорят, она сильно перед ним рисовалась. Он в Капустине будто трое суток гулял. И Лушка при нем была. Будто все время была – и день и ночь. Вы что знаете про Лушку-то? Вы скажите мне, ребята, про нее, если что знаете. Я буду вам верная, вечная слуга. Знаете или нет вы про нее?

– Знать-то знаем, – сказал Венька, – но говорить не будем. И не проси. Не наше это дело – разлучать людей.

– Все равно я все узнаю, – погрозила женщина. – Я самого Савелия допытаю. Он мне скажет. И Лазарь Баукин бы сказал. Он мой верный человек. Но его сейчас Константин Иваныч до себя не допускает. Пусть, говорит, сперва пройдет какое-то испытание. А Савелий мне велел обуть и одеть Баукина, когда он от сыскарей убежал. И товарищей его велел обиходить… Это, говорит, считай, как приказ самого Константина Иваныча… Дедушка крестный, вы чего там опять стонете? – повернулась

она к печке. – Вам попить, что ли, дать? Или вы на двор хотите?

– Язык бы у тебя хотел откусить, – послышался с печки дребезжащий старческий, но еще ясный голос. – Больно длинный у тебя язык, Клавдея…

– Язык у меня, дедушка, какой есть от дня моего рождения, такой и навсегда останется. А вы спокойно спите. Вы мне всю душу досконально вымотали. А эти люди от самого Савелия. По важному делу.

Мне мучительно хотелось узнать, кто же это такой Савелий. Может, я знаю его по фамилии, но не знаю по имени.

Все-таки нам многие уже известны из окружения Кости Воронцова. Не напрасно же мы занимаемся этим делом. А про Савелия я никогда не слыхал.

И еще закрадывалась тревога: а вдруг сейчас сюда явится сам Савелий? И не один… Погода ведь в самом деле подходящая для бандитских визитов.

За окнами все еще беснуется пурга. И пожалуй, будет бесноваться всю ночь.

Вот получилась бы красивая картина, если б сюда явился Савелий!

Но больше всего я боялся, что Венька сейчас захочет идти отсюда на Большие выселки или прямо в Проказово. А я нисколечко не отдохнул. Я даже излишне разомлел тут от тепла и этого первачка. Неужели Венька действительно захочет сейчас обратно идти через пургу?

Дедушка опять застонал на печке, забормотал что-то. И в комнате явственно запахло залежанным тюфяком.

– Да ну его! – покосилась на печку женщина. – Еле живой, в чем душа теплится, а все шпионит за мной. Бывший околоточный надзиратель. Приехал аж из самого Владивостока доживать свой век в тайгу. Он не родной мне, он мне всего-навсего крестный. Но Савелий велел его обихаживать. Говорит, он еще потребуется.

Женщина перекинула через плечо холщовое, для посуды, полотенце и стала собирать со стола.

Видно было, что она привыкла к порядку, к аккуратности. В избе чисто. На стене перед столом большое зеркало. И она изредка, собирая посуду и разговаривая с нами, поглядывает на себя в зеркало. Как-то сбоку поглядывает, точно хочет разглядеть свое ухо, в котором мерцает длинная, на длинной прицепке, серьга с малиновым камешком.

– Вам, ребята, где постелить? – весело спрашивает она. – У печки? Или же на кровати ляжете? – И, не ожидая ответа, сама решает: – Я вам постелю у печки. Тут теплее. А то у нас к утру изба выстывает…

– Нам только выйти на минутку надо, – встал из-за стола Венька.

– Выходите, выходите, конечно, – засмеялась женщина. – Вся ночь еще впереди. А то с вами, не дай бог, что-нибудь случится, как вон с дедушкой, моим крестным, все время случается. Замучил он меня в отличку. Глаза бы мои на него не смотрели и уши мои бы не слушали. Чистый дьявол на печке! От старого режима.

Мы вышли на крыльцо.

Пурга все взвизгивала и выла. И мне в этой густой крутящей темноте, обступившей избу, вдруг показалось, что мы стоим не на земле, а на какой-то еще неизвестной планете. И она чуть покачивается под нами.

Под горой кипела в бело-черной пене дремучая, страшная тайга. Она не казалась такой страшной, когда мы шли через нее. И не верилось теперь, что мы только что через нее шли.

Я спросил Веньку:

– Ну что, будем спать?

Я спросил в том смысле, будем спать или будем делать вид, что спим.

– Будем спать, – сказал Венька.

И мы вернулись в дремотно приятную после ветра духоту избы.

– А крестный, слышите, что болтает? – зашептала женщина. – Будто вы не от Савелия, а будто вы… Ну, словом, будто вы… Подумайте только, чего пригрозил сатана! Будто вы, одним словом, эти… сыскари.

– Пусть его, – отмахнулся Венька. – А тебя, Кланя, я хочу вот что попросить. Если ночью кто постучит – могут и наши постучать и всякие, погода, ты сама говоришь, подходящая, – ты никому не открывай, позови нас.

– А если Савелий придет?

– Ну, Савелий – это другое дело…

Венька вел себя как старый знакомый хозяйки.

На комоде он увидел семерку алебастровых слонов, стоявших в ряд на кружевной салфетке, один другого меньше.

– Это, Кланя, кто тебе слонов подарил? Клочков?

– Клочков. А ты откуда знаешь?

– Я все знаю, – засмеялся Венька, довольный тем, что угадал.

Он мог бы и не угадать. И не обязан был угадывать. Но, угадав, еще больше расположил к себе хозяйку.

Она потрогала большого слона.

– Это Евлампий Григорьевич мне на счастье их подарил. Говорил, они приносят счастье…

– Я это тоже слышал, – кивнул Венька.

– Баукин рассказывал, что они этих слонов в Горюнове нашли, когда

потребиловку брали. Там много хороших товаров было, разной мануфактуры и эти слоны. Никто даже внимания на них не обратил, а Евлампий Григорьевич положил их в карман. «Это, говорит, для Клавдии». И вот, глядите, как будто пустяк, а женщине всегда приятно, что про нее помнят…

– Это верно, – опять кивнул Венька. И спросил: – А Баукин у тебя давно не бывал?

– Да нет, он на прошлой неделе был. Он часто бывает. Он у меня тут, кажется, дней десять жил, когда из Дударей ушел. Он мне все дрова перепилил и переколол и полотно ворот перебрал…

Я вспомнил изломанное полотно ворот у избы Баукина и спросил:

– А что ж он дома у себя не живет, в Шумилово? Боится?

Кланька удивленно вскинула на меня свои красивые глаза, обрамленные длинными ресницами.

– Кто? Лазарь Евтихьевич боится? – И словно обиделась за него. – Лазарь Евтихьевич никого на свете не боится. Я другого такого отчаянного не знаю. Разве только Константин Иваныч будет посмелее. Да и то, наверно, не посмелее, а поумнее. Даже Евлампий Григорьевич, мне говорили, побаивался Лазаря Баукина. Боялся, что Лазарь Баукин сместит его и сам в атаманы выйдет…

Кланька отошла от комода и по двум приступочкам поднялась на печку. Заговорила о чем-то со стариком.

Я так и не понял, почему Лазарь Баукин не живет в Шумилово. И не знал, удобно ли дальше расспрашивать Кланьку об этом.

А Венька молчал, разглядывая фотографии на стенах.

На фотографиях были изображены мордастые, бородатые мужчины в длинных сюртуках, женщины в огромных шляпах и кофточках с пузырящимися на плечах рукавами. Не похоже, что это предки нашей хозяйки. На одной фотографии хмурился какой-то священник или, может, архиерей в высоком черном клобуке. Уж он-то, наверное, не родственник Кланьке. А кто знает, может, и родственник. Может, он родственник тех, кто бродит сейчас в бандах. Хотя едва ли они будут выставлять тут свою родню. Все это скорее всего случайно попало сюда.

В городах на базарах еще продавали, вернее – обменивали на хлеб, разную рухлядь, оставшуюся от богатых домов, потрясенных революцией и гражданской войной. Даже старые фотографии выносили на базар, а также дорогие шкатулки, вазы, бронзовые подсвечники в виде ангелочков, венские качалки с плюшевыми сиденьями, сюртуки с атласными отворотами, барские брюки со штрипками и много еще чего.

Богатые крестьяне все это выменивали в городах и развозили по своим деревням и глухим таежным заимкам.

Вот почему не только у Кланьки Звягиной, но и в других деревенских избах в ту пору можно было встретить самые неожиданные предметы городской роскоши или старины. И это не удивляло нас. Нас не мог здесь удивить граммофон, стоявший рядом с комодом на фигурной тумбочке, или мраморный умывальник, поставленный против комода для украшения.

Нас удивила сама хозяйка. Поговорив со стариком, она подошла к нам, все еще рассматривавшим фотографии, и, махнув рукой, сказала:

– Ну, это старье. Старые песни. А дальше-то, ребята, что вы думаете, как дальше-то все будет?

– Что будет?

– Ну, вся жизнь… Злотников, говорят, уехал со своей шмарой в Японию. Бросил, говорят, свою банду, забрал золотишко и уехал…

Это было для нас новостью. Но мы не выразили удивления. Венька только сказал:

– Мало ли что говорят!

– Но это правда или нет? – допытывалась женщина.

– Не знаю, – покачал головой Венька.

– Как же это вы не знаете? – удивилась она. – Об этом все сейчас говорят. («Интересно, кто это „все“?») Лазарь Евтихьевич даже говорит, за Злотниковым погоня была. Свои же устроили за ним погоню, хотели будто бы убить, но не словили…

Это бы нам полагалось знать. И очень плохо, что мы об этом только сейчас узнали. А может, это вранье?

– И давно это было? – спросил Венька.

– Да, однако, недели две назад. Лазарь Евтихьевич вот тут сидел, – она показала на обитое красным плюшем кресло, – и рассказывал мне. Вот, говорит, до чего дело-то дошло. Атаманы уходят. Может, и у Константина Иваныча такая думка есть. Может, он с Лушкой собирается уехать. Только еще разве японцы ее не видали, а с англичанами она, говорят, тут путалась вовсю, когда еще девчонкой была… – Кланька засмеялась. – А вы, значит, ничего не слыхали?

– Нет, – опять покачал головой Венька.

– Ну да, в газетах ведь об том не пишут, – насмешливо сощурила глаза женщина.

Мне подумалось, что она наконец поняла, кто мы такие, поняла, что старик на печке был прав. Но Венька тут же, должно быть, сбил ее с толку, сообщив, что мы только вчера вернулись с Тагульмы и поэтому никаких

новостей еще не знаем.

– Так это вы ездили на Тагульму? – удивилась Кланька. – Лазарь Евтихьевич мне рассказывал…

Лазарь, наверно, и Веньке рассказал об этой Тагульме. Но женщина этого не могла знать. Она опять прониклась доверием к нам и заговорила о Лазаре Баукине, о том, как он пилил и колол тут дрова и радовался работе. «Веришь ли, нет, Клавдея, до чего я стосковался по хозяйству! – говорил он ей. Прямо топор поет в руках про то, как я скучаю…»

«Что ж он дома-то у себя не работает?» – опять хотел спросить я, вспомнив покосившуюся его избу в Шумилово. Но не успел спросить.

– Из дому его баба выгоняет, – ответила Кланька на мой невысказанный вопрос. – Он ведь дома-то почти что не жил все эти годы. Так только изредка когда забредет, больше ночью, – притащит чего-нибудь детям. Чисто как волк. Но дети его почти что не признают за отца. Отвыкли. Ведь он то на службе был, на войне, на двух, можно сказать, войнах, то в отряде у Клочкова. А что он в отряде, об этом жена не может открыто говорить. Это значит – навести на себя подозрение. Ну, и вот она стала всем объяснять, что он вроде как пропал без вести, что она вроде как, выходит, вдова-солдатка. Ей так удобнее. И прошлый год ей выдали на бедность коня. Не коня, а клячу еле живую, в парше почти что неизлечимой. Но она его начала мазать дегтем, ставить в жидкую глину – одним словом, лечить. И конь одыбел. А тут опять является Лазарь с побега. Думает, конечно, что жена обрадуется, примет его, заплачет слезьми. А она вдруг намахивается на него ухватом и говорит: «Уйди, дьявол! Я через тебя могу лишиться коня. Сколько лет с детями мучилась без тебя, а теперь у меня есть конь. Мне власть его выдала, продала». Лазарь ее увещает: «Да зачем тебе эта кляча? Я тебе такого коня приведу, что залюбуешься. Не конь будет, а змий летучий». А она все свое: «Так это же ты приведешь краденого коня. Из-за него таиться надо, а этот конь хоть какой, но открытый, собственный. На него есть справка». Лазарь ей уж по-всячески втолковывал. Наконец прямо спрашивает: «Ну, кто же тебе милее, скажи мне на милость, – муж родной и законный или мерин паршивый?» А она одно что намахивается на него ухватом и кричит: «Не срами меня перед людьми!» Подумайте, какая дама-баронесса! Не срамить ее…

Кланька засмеялась.

– А мне Лазаря Евтихьевича, откровенно скажу, жалко, – продолжала она. – И Константин Иваныч его держит на притужальнике: говорит, пускай сперва пройдет какое-то испытание после побега от сыскарей. И жена законная до себя не допускает как следует. Я ему прошлый раз говорю: «Ты

нашел бы себе какую-нибудь другую бабу. Мало ли нашей сестры! Мужчина ты еще свежий, здоровый. А в Фенечке твоей, говорю, прости ты меня за откровенность, ничего завидного нету. Худущая, как жердь. И в годах». А он мне говорит: «А дети?» Он тревожится, что дети вырастут и уж совсем не будут его признавать.

Меня удивило, что в звероватом Лазаре Баукине все-таки есть человеческие чувства. Хотя почему человеческие? Звери тоже пекутся о детенышах. Лазарь поздно вспомнил о своих детях.

– Только Савелий сейчас почитает Лазаря, – заключила свой рассказ Кланька и стала подтягивать за цепочку гирю на больших настенных часах в лакированном футляре. – Время-то, глядите, какое! Надо, пожалуй, ложиться…

Мы легли с Венькой у печки на широкий, набитый шерстью тюфяк и укрылись одним тулупом.

Я хотел шепотом спросить Веньку, кто же этот Савелий. Но не решился… Шептаться – это хуже всего.

Мы молча лежали под тулупом и слушали, как в соседней комнате скрипит кровать, на которую укладывает свое роскошное, пышное тело возлюбленная «императора всея тайги» Кланька Звягина, терзаемая жгучей ревностью.

А над нами на печке стонет и ворочается, тревожимый лютой злобой и недугами, бывший околоточный надзиратель, которого для чего-то велел сохранять неизвестный мне Савелий, чьим именем мы вошли в этот дом.

Дом этот стоит на горе, но мне кажется в темноте, что мы лежим где-то на самом дне, может быть, на дне какой-то пропасти.

Венька тихонько приподымает тулуп, вылезает и уходит в сени.

Я не вижу, не слышу, но отчетливо представляю себе, как он ловит впотьмах плавающий в ушате ковшик, зачерпывает воду со льдом и жадно пьет, роняя капли на голую грудь.

Я тоже страшно хочу пить. У меня все горит внутри от первачка и лука и еще от чего-то, что мы ели. Но я не решаюсь встать.

Я слышу, как Венька вышел из сеней и прошел в ту комнату, где лежит Кланька. Кровать опять заскрипела.

Это Кланька встала с кровати. Я вспомнил, как она сказала крестному: «Они пришли от Савелия по важному делу». Вот теперь Венька выкладывает ей это важное дело или то, что она должна посчитать важным.

А может, он просто любезничает с ней. Может, он обнял ее сейчас, теплую, большую, душистую, и целует впотьмах. Пусть ее лучше Венька целует, чем какой-то бандит Воронцов. Ну что хорошего увидит в жизни

эта Кланька, если она связывает себя с бандитами, уже связала? Ни за что увянет ее красота.

Я хотел бы это все сказать Кланьке. Но я это никогда не скажу. Не все скажешь людям. И не во все они поверят. А может, ей что-то скажет Венька. И ему она поверит. Недаром же она сказала, что он походит на Костю Воронцова. Подумаешь, какая честь – походить на бандюгу!

Нет, Венька не будет целоваться с Кланькой. Ни за что не будет. А вдруг?

Я напрягаю слух, но не могу всего расслышать, о чем они говорят.

До меня долетают только отдельные слова. Кланькины слова. Она говорит свистящим шепотом:

– Ей-богу! Ну вот ей-богу, я клянусь! Вот перед образом. Я врать не буду!

И опять через некоторое время те же самые слова. А что ей говорит Венька, я не могу расслышать. Но я все-таки вслушиваюсь, даже приподымаюсь на локте, и наконец до меня долетают удивляющие меня слова Веньки. Он говорит:

– Ты запомни одно: мы сюда не приходили, и ты нас никогда не видела. Понятно?

– Понятно, – шепчет она. И просит: – Ты только потише говори. Ведь дедушка, ты знаешь, какой дьявол!

Венька еще что-то ей говорит, но я опять не слышу его слов. Я слышу только, как женщина снова повторяет свистящим жарким шепотом:

– Понятно.

Ей, должно быть, все понятно. А я ничего не понимаю. Мне только ясно, что Венька ей что-то приказывает. И очень строго.

Нет, он ни за что не будет целоваться с нею. В этом я твердо уверен. За это я могу поручиться. Ну, а сам я стал бы целоваться с Кланькой, вот сейчас, впотьмах, вот в такую ночь, где-то на краю земли и, как я сперва подумал, на другой планете?

И к стыду своему, я должен был признаться себе в ту тревожную ночь, что стал бы, если б к тому же она первая поцеловала меня.

В оправдание себе, в оправдание слабости своей я подумал о том, что мне ведь в самом деле почему-то жалко Кланьку. Жалко, наверное, потому, что она такая красивая, молодая и связалась с бандитами. А я бы уговорил ее уйти отсюда. Я бы даже женился на ней, если б она захотела. Я увел бы ее от этого притаившегося на печке крестного. От всего увел бы. А иначе погибнет она. И красота ее погибнет.

Жизнь повсеместно изменится, все вокруг похорошеет, будет замечательная жизнь. Будет полный социализм. А Кланьки не будет, если она связалась с бандитами. Хотя она ведь еще не такая испорченная. Ее еще можно бы исправить. Увести отсюда и исправить. А иначе она наверняка погибнет, как все бандиты.

«Бандитизм в нашей стране не имеет перспективы. Он фаталистически идет к своей неизбежной гибели».

Эту, как показалось мне в свое время, красивую фразу написал в одном очерке Яков Узелков. И мне запомнилась эта фраза. Я даже выписал ее себе в записную книжку. Вот я всегда смеюсь над Узелковым, а он все-таки может здорово написать. Интересно, как бы он описал вот эту ночь? Он, конечно, прибавил бы много лишнего. Получилось бы очень красиво, но…

Я уснул, так и не додумав об Узелкове.

Проснулся я от толчка. Мне приснилось, что я плыву без весел в лодке по Ангаре. Вдруг лодка наскочила на плоты. Меня захлестывает холодной волной… Вот сейчас я опрокинусь. Другого выхода у меня нет. Нет, есть другой выход.

Я открываю глаза. За окнами все еще темно, но пурга утихла. На стене опять горит жестяная лампа. Передо мной стоит уже одетый Венька.

– Ну, давай обувайся, и пошли.

– А может, вы хоть молочка выпьете?

Это спрашивает Кланька. И голос у нее виноватый, растерянный, не такой, как вчера.

Она стоит у притолоки, уже причесанная, но серьги не поблескивают в ушах. Она не надела серьги. И не смотрится больше в зеркало, как вчера. Все время опускает глаза, взмахивая пушистыми ресницами. И от этого становится еще красивее, нежнее, что ли.

– Молочка выпьем, – соглашается Венька, как в Распопине, где вчера он проводил беседу.

Мы пьем молоко. А Кланька сидит у краешка стола и, точно опечаленная, смотрит на нас, подперев горячую, румяную щеку ладонью. Может, ей не хочется расставаться с нами. Или, напротив, она теперь боится нас и досадует, что вчера была так доверчива.

Она теперь, наверно, знает, откуда мы пришли. Конечно, знает. И чувствует, что оказалась вдруг между двух огней. Она никому не скажет, побоится сказать, кто гостил у нее нынешней ночью. Ей нелегко теперь будет выпутаться.

Венька первым выходит из-за стола, протягивает хозяйке руку, улыбается:

– Ну, для первого знакомства у нас все идет хорошо. Спасибо тебе…

Она пожимает нам руки, сперва Веньке, потом мне. Руки у нее маленькие, но необыкновенно сильные. Мне особенно приятно ее рукопожатие. Венька еще что-то говорит ей в сенях, когда я выхожу на крыльцо. И мы уходим.

Мне почему-то становится очень грустно, когда мы уходим.

12

Мы спускаемся с горы на лыжах в темноту и в морозный туман, что ползет по низине, цепляясь бурыми космами за черные зубья таежного леса.

– Серьезное дело можем сделать, – говорит Венька, когда мы входим в тихую, глухую просеку. – Дураками будем, если не повяжем этого липового императора со всей его шумливой артелью…

Мне хочется все же узнать, кто такой Савелий.

– Да я еще сам не знаю, – смеется Венька. – Это какой-то серьезный зверь. Но не шибко серьезный, если Лазарь залез в его секреты. А Кланька, ты понял, приняла нас сначала за связных от Воронцова. Ей Савелий сказал, что будут сегодня связные. И Лазарю сказал. А Лазарь задержал связных. Это его знакомые…

Я о многом хочу расспросить Веньку. Но он уклоняется от разговора, говорит:

– Потом, потом. Я сам еще не все понимаю. Тут дело намечается тонкое. Не оборвать бы нитку. Обдумать надо…

Да нам и не очень удобно разговаривать на ходу. Он опять вырывается вперед и быстро идет впереди меня. Я все-таки спрашиваю:

– Ты доложишь начальнику, где мы были?

– А для чего сейчас докладывать? Это трепачи докладывают, когда дело еще не сделано. Сделаем – доложим…

Мы долго молча идем по скользкому снегу. Сверху он слегка припушен, но под пухом этим твердый, скользкий пласт.

После пурги природа отдыхает. Деревья отрадно встряхивают вершинами. На нас сыплется с деревьев обледеневший, искристый снег – кухта.

Все еще очень холодно, но сам воздух уже отдает весной. Вот она скоро наступит. Пахнет ягодой. Похоже, пахнет облепихой. Это прелый прошлогодний лист, мхи и лишайники, приставшие к стволам вековых деревьев, обманывают нас своим запахом. А снег все еще глубокий.

– Мы другой раз считаем себя дикарями, но есть дикари пострашнее, поглупее нас, – говорит, повернувшись ко мне, Венька. И прочерчивает лыжами по снегу широкий круг. – Смотришь – будто люди, а живут как медведи. Или даже хуже медведей. Без всякой перспективы. Только бы потуже набить брюхо хорошими харчами. И вся забота только о себе. При

коммунизме так, однако, жить не будут…

– А как будут, ты считаешь, жить при коммунизме?

– А я откуда знаю? Что я, лектор?

И, сердито воткнув палку в снег, он порывисто бежит вперед.

Мы опять долго молчим. Потом, когда он переходит на замедленный, плавный шаг, я спрашиваю:

– А эта Кланька Звягина, как ты считаешь, толковая? Или она с глупинкой?

– Ну откуда я знаю, какая она? По-моему, она теперь сильно запуталась с этими делами. И уж скорее всего не выпутается.

– А жалко, – говорю я.

– Конечно, жалко, – соглашается Венька.

И то, что он сейчас соглашается со мной, еще больше возвышает его в моих глазах. «Золотой паренек Венька, – думаю я, продвигаясь вслед за ним. – Умный, ловкий, отчаянный».

– А Лазарь мечется, – как бы вспоминает он, опять замедляя бег. – У него сейчас сильно плохие дела, Воронцов велит ему пройти какое-то испытание. Я еще не знаю какое. Но Лазарь мечется. Не видит смысла, для чего ему проходить испытание. Не может понять, куда ему сунуться…

– Все-таки ты здорово разбередил ему башку и душу, – говорю я.

– При чем тут я? – почти сердито оглядывается на меня Венька. – Он сам не дурак. Он видит, как складывается жизнь. Но ему сейчас деваться некуда. Если он уйдет из бандитов, его сами же бандиты ухлопают. И на нас он еще смотрит зверем. Не доверяет нам.

– Но он все-таки решился, сообразил, навел нас на эту Кланьку.

– Да не так уж сразу навел. В Шумилово-то мы не напрасно заходили. Он это понимает. Но главное не в этом. Главное, что он не хочет проходить испытание…

– Почему ты считаешь?

– Потому что потому – окончание на «у»! – смеется Венька. – Если бы он хотел проходить испытание, он вчера в лесу стукнул бы нас обоих. И Воронцов посчитал бы, что больше никаких испытаний ему не требуется. А он не только не стукнул, но показал нам дорогу. И точно показал. Это чего-нибудь стоит?

– Конечно.

– Но это еще не все, – говорит Венька и опять бежит впереди меня.

Мы скорее, чем надеялись, доходим до Больших выселок, где вчера собирались ночевать. И идем дальше при свете хмурого утра.

В Проказове нас встречает старший милиционер Семен Воробьев,

сейчас оправдывающий свою фамилию. Зябко нахохлившийся, он походит на старого воробья, потрепанного непогодой. И новенькая, недавно выданная форма не нарушает этого сходства.

– Сломался ваш аппарат со всеми крыльями, – сообщает он нам с оттенком ехидства. – Сломался, так его мать! Испортил всю коммерцию. Еще вчера сломался – в Пряхине.

– Неплохо работает бандитский телеграф! – смеется Венька, когда мы отходим от Воробьева. – Значит, правильно нам Клавдия сказала про наши аэросани, что сломались. И все-таки телеграф этот бандитов не спасет. Нет, не спасет. Надо только осторожно тянуть нитку…

Мы идем на лыжах в Пряхино.

Начальник наш, невыспавшийся, сердитый, уже в который раз, наверное, принимается ругать механика около затихших, видимо навсегда затихших, аэросаней.

А механик только кряхтит и пытается отвинчивать французским ключом какие-то гайки. Они никак не отвинчиваются. Кожаный его шлем и кожаное пальто, так восхитившие нас вчера и так украшавшие его, скинуты теперь и лежат на дне саней. В обыкновенной стеганке механик ничем не отличается от обыкновенного деревенского мужика.

– Вам легко рассуждать! – наконец огрызается он, глядя в упор на нашего начальника. – А техника, – вы должны понять, – это темный лес. Ведь сани эти, нужно учитывать, не русские. Это трофейные, как я думаю, японские сани. А я, во-первых, не японский, а русский механик. Чистокровно русский. Микулов – фамилия…

– Да какой ты русский? Нисколько ты не русский, – зло посмеивается начальник. – Русские механики берутся сейчас, если ты читаешь газеты, всю Россию до краев перестроить, а ты, я смотрю, уже столько возишься тут.

– А вы сперва вот бандитов уничтожьте! – уже кричит механик. Уничтожьте сперва бандитов, а потом перестраивайте Россию. А то вот вы бандитов еще не можете уничтожить. А сейчас что получается. Вы вот сядете на подводы и уедете обратно в Дудари. А я по долгу службы тут обязан остаться, около этих японских, будь они прокляты, аэросаней. А ночью сюда подойдут бандиты и меня же зарежут. И зарежут из-за вашей же фантазии, что вы желали с таким форсом прокатиться на иностранном изобретении в такую даль…

– И правильно сделают, если зарежут, – смеется начальник. – На что ты нужен, такой… пессимист?

– А я вот брошу сейчас всю эту починку, и что хотите, то и делайте,

угрожает механик. – Работаешь, себя не щадишь, и еще оскорбляют какими-то словами…

– А что ж я тебе такого особенного сказал? – смущается и начальник. Что обидного-то? Это по-французски, если хочешь знать, означает всего-навсего очень нервный, невыдержанный, пугливый. Ну, ты такой и есть. Ты же сам говоришь, что опасаешься. Вот я и пошутил, что ты, выходит, пессимист…

– Хорошенькие шутки! Ведь тут же действительно даже в дневное время народ режут. Что я, не знаю, что тут будет, если я один останусь?…

– Да ты не бойся, не робей! – успокаивает механика уже подоспевший сюда старший милиционер Воробьев. – Ты же не один останешься. Я тоже тут побуду, пока под ваши сани подадут лошадей.

– А толк-то какой? – не успокаивается механик. – При вас находится только вот этот револьвер – старинный смит-вессон. Вот если б при вас пулемет находился, вот тогда бы я сказал: да, это есть представитель власти. Есть чего бояться.

– Какой бы я ни был, но я с тобой побуду, – незлобиво обещает Воробьев. И приседает на корточки у передка аэросаней, где механик все еще откручивает гайку. – Дай-ка я этот болт зажму клещами. Может, она тогда легче пойдет, эта гайка…

Венька Малышев, еще, кажется, совсем недавно, в Дударях, помогавший механику налаживать эти аэросани, сейчас как будто и не интересуется вовсе ни механиком, ни санями. Венька, наверно, и не слышит даже, о чем это начальник снова разговаривает с механиком и на что опять обижается механик. Венька ходит один невдалеке у кромки леса, утаптывая рыхлый снег, покусывает соломинку и, похоже, о чем-то напряженно думает.

Мы ждем подле аэросаней Колю Соловьева и еще трех наших сотрудников, которые ведут расследование в Мочаеве и Солотопах. Потом мы сядем на подводы и поедем в Игренево, где начальник предполагает провести оперативное совещание. А уж позднее, после совещания, двинемся обратно на Дудари.

13

Из Дударей мы выехали морозной зимой, а возвращались в ростепель, в предвесеннюю распутицу, когда обыкновенные, деревенские сани-розвальни то ровно повизгивают железными полозьями, вдавливая мокрый снег, то вдруг заскрежещут-заскрежещут, наскочив на голый булыжник, вытаявший из-под снега.

Всю жизнь – по сю пору – смена времен года наполняет меня не только радостью, но и неясной тревогой по поводу каких-то неоконченных дел, которые надо было закончить еще вчера, еще в начале зимы. И вот уже наступает весна, вот уже завтра стает весь снег, проклюнутся набухшие почки на деревьях, зазеленеет земля. А чего-то важного я так и не сделал: не отослал деньги матери, не дочитал каких-то книг, не отдал в починку сапоги, не осуществил серьезных замыслов.

Хотя ясных замыслов еще не было у меня в ранней юности. Из-за этого я и сокрушался в ту пору. Мне казалось, что я живу как растет трава. Вокруг меня люди совершают что-то продуманное заранее, добиваются чего-то изо всех сил. А чего я добиваюсь?

Я вот даже в Воеводском углу ничего толкового не сделал. Даже не попытался сделать. Я только ходил за Венькой, как свидетель или вроде его охраны. Но он и без охраны бы обошелся.

Венька лежал рядом со мной в санях-розвальнях на соломе, прислонившись головой к валенкам возницы, стоявшего на коленях в передке саней и потряхивавшего вожжами над мохнатой лошаденкой.

Потом у возницы, должно быть, затекли ноги. Он сел на перекладину, потревожив Веньку, и спросил:

– А закурить у вас, товарищи комиссары, не найдется?

– Не найдется, – сказал Венька.

– Плохо, – вздохнул возница. – Плохие вы, стало быть, комиссары, коли у вас и табаку даже нету.

– А еще чего, ты считаешь, у нас нету? – улыбнулся Венька.

– А я больше с вас ничего не спрашиваю, – сказал возница. – Какое мое дело с вас спрашивать? Велели мне вас отвезти в город, я отвожу. Говорят: «Отвези комиссаров, кои тут жиганов искали». И другим мужикам дали такой приказ – отвезти. А коли не было бы приказа, мы бы сейчас дрова возили. Но наше дело такое – слушать, чего говорят. А вы что, жиганов-то разве не нашли?

– Не нашли.

– Ну где ж их, однако, найдешь! Ведь они, поди-ка, в лесу. А в лес-то, однако, и комиссарам страшно удаляться. Ладно еще, господь милостив, вас самих не затронули. А то могли бы и вы жизни решиться. А жизнь-то, она, поди-ка, каждому дорога. Особливо коли получаешь хорошее жалованье. И паек. Казенные харчи, они скусные…

Возница явно смеялся над нами. Потом он стал рассказывать, как зверствуют бандиты. И опять спросил:

– Значит, выходит, товарищи комиссары, вы, примерно, как на осмотр ездили? На осмотр населения? А Воронцова, стало быть, самого Константина, вам повидать не привелось?

– Не привелось, – сказал Венька.

– А ты сам-то, отец, видал ли Воронцова? – спросил я.

– Где же, в каком месте я его повидаю? – нахмурился возница. – Мне ведь жалованье не выписывают, чтобы его ловить…

– Ты нашему жалованью не завидуй, – уже начал сердиться я. – И харчами не кори. У вас в деревне харчей сейчас больше, чем в городе. Вы даже снабжаете…

Я хотел сказать – бандитов. Но Венька взял меня за руку.

– Давай, отец, условимся вот как, – предложил Венька вознице. – Я запишу твою фамилию и адрес, где ты живешь. Как поймаем Воронцова, я напишу тебе открытку. Приезжай поглядеть на него…

– Надеетесь все-таки словить?

– А как же? Иначе, правда, не стоило бы возить нас в рабочее время. Лучше уж возить, как ты говоришь, дрова…

Венька разговаривал с возницей весело, по-мальчишески боевито. Но когда в Дударях мы пришли в баню и разделись, он словно постарел.

Повязка его так прилипла к незажившему плечу, что мы ее, даже намочив горячей водой, с трудом отодрали. И плечо вспухло. А лицо у Веньки сделалось черным.

Париться он не стал. Только слегка помылся, выстирал бинт, накинув на спину полотенце, подождал в предбаннике, пока я попарюсь и перевяжу ему плечо.

– Попарься за двоих, – пошутил он. – Жалко, пропадает такой мировой пар.

Из бани мы пошли искать Полякова, чтобы сделать перевязку по-настоящему. Но Полякова не было.

По дороге мы узнали, что сегодня городское комсомольское собрание и на повестке дня очень важный вопрос.

– Пойдем на собрание, – предложил Венька. – А потом опять поищем Полякова. Мне не хочется пропускать собрание. Интересно, ребят встретим…

– Вот видишь, не надо было тебе ездить сейчас в Воеводский угол, сказал я, заметив, как Венька все время морщится.

– Почему это не надо? – возмутился он. – Очень даже надо было. И очень хорошо, что съездили. Я кое-что зацепил…

– А вдруг плечо опять раздурится? Может стать совсем худо.

– Это ерунда. Поляков мне все наладит. У меня же хорошо заживлялось. Он сам говорил. И сейчас тут есть приезжий доктор Гинзбург. Если он только не уехал…

– Теперь тебе, наверно, придется лечь в больницу.

– Нет, я не лягу. Как вот просохнет земля, я опять поеду в Воеводский угол. Нам и сегодня не надо было всем сразу уезжать оттуда. Это мы немножко сплоховали.

– Но это ж начальник так хотел, – сказал я. – Мы уж за это не отвечаем. Мало ли, что он…

– Нет, отвечаем, – вдруг перебил меня Венька. – Мы за все отвечаем, что есть и что будет при нас. Мы же все-таки не дрова и не бревна…

И так он это резко сказал, зажмурившись от боли в плече, что мне запомнились на всю жизнь и эти слова, и лицо его запомнилось при этих словах – какое-то особо выпуклое, напряженное, с глубокой складкой меж бровями.

– А к этой Кланьке Звягиной ты опять зайдешь, если поедешь в Воеводский угол?

– Опять зайду.

– Значит, она тебя задела?

– Задела.

– А Юлька?

– Что Юлька? – Он сердито посмотрел на меня, будто я его в чем-то упрекнул. Потом опять зажмурился. И немного погодя сказал: – Юлька это… я даже не знаю, как это объяснить… Одним словом, я такой девушки еще никогда не встречал. И, наверно, больше не встречу. Она даже снится мне. Я про нее почти все время думаю. Что бы ни случилось, а я все время думаю про нее. Будто она смотрит на меня. Нет, я, наверно, другой такой больше никогда не встречу.

Это он впервые так откровенно сказал о Юльке, о том, что она интересует его. И сказал это с затруднением, может быть, потому, что у него сильно болело плечо.

– Ну, – отчего-то смутился я, – как это можно заранее говорить? Ты с ней еще даже не познакомился. А вдруг она в разговоре окажется не такая…

– Пусть. Мне это все равно. Для меня она заранее умнее всех. И меня умнее. Хотя я себя сильно умным не считаю. Я доверчивый очень. Но меня еще никто не обманывал, кому я доверял…

– А эти бандиты тогда сбежали – Лазарь Баукин и другие? Ты же не знал, что они сбегут из бани. Ведь действительно ты не знал?

Мы проходили среди голых и мокрых деревьев городского сада, что раскинулся над рекой. Лед уже набух, побурел. Вот еще неделя, другая – и он вздыбится, взорвется, загрохочет и медлительно поплывет далеко-далеко, в Ледовитый океан.

Венька остановился над обрывом и стал пристально вглядываться в даль, где чернела тайга, а над нею повисли подсвеченные заходящим солнцем грязноватые облака. Где-то там, под этими облаками, мы и были сегодня. Там лежит в треугольнике меж гор и рек Воеводский угол.

Я подумал, что Веньке не хочется отвечать на мой вопрос, что я затронул его слабое место. Чтобы выйти из неловкого положения, я сказал:

– Ведь к человеку в душу не залезешь. Откуда можно узнать, что у человека на душе? И с Лазарем Баукиным тогда нехорошо получилось. Ты ему поверил… И все мы ему поверили. А он вдруг убежал. Но, может, он сейчас себя оправдает. Прокурор пока помалкивает…

– Все это ерунда, – проговорил Венька и сделал такое движение, точно отталкивал от себя что-то крайне неприятное. – Лазарь Баукин мне не родня, и никаких обещаний не убегать он никому не давал. Была плохая охрана – он ушел. А в душу мы все равно обязаны залезать – в любую, если нас поставили на такую работу…

И опять стал пристально вглядываться в даль, в сторону Воеводского угла, где притаились те, кого мы должны выследить, выловить и даже уничтожить.

Мимо нас прошли Узелков и какой-то незнакомый нам сухощавый молодой человек в очках и в модной финской шапке с кожаным верхом и с барашковой опушкой. Они не заметили нас.

– Надо идти на собрание, – оглянулся на них Венька.

И мы пошли.

В толстостенном помещении клуба имени Парижской коммуны, где недавно еще жили монашки, было сумрачно и тихо.

Мы прошли по узенькой каменной лестнице на второй этаж, в буфет.

Здесь сидели за столиком и пили лимонад Яков Узелков и тот

незнакомый нам молодой человек, уже снявший финскую шапку.

У молодого человека было детское, пухлое лицо в докторских очках, темные, гладко причесанные волосы и заметно хилые, покатые плечи, которые он все время как бы суживал, будто ему холодно. В зубах он держал тонкую трубку с длинным чубуком.

– Познакомьтесь, ребята, – показал нам Узелков на своего собеседника. Это Борис Сумской. Вы о нем, наверно, слышали? А это, – представил он нас, – местные пинкертоны…

За такие слова Узелкову в другое время сильно попало бы. Но сейчас мы не хотели ссориться с ним при постороннем человеке, при таком особенно, как Борис Сумской, о котором мы, конечно, слышали. Он часто писал в губернской газете фельетоны о попах и о религии, и было известно, что он работник губкома комсомола.

– Пинкертоны! – посмотрел он на нас и тихонько засмеялся, будто перекатывая в горле горошину. Однако протянул нам руку и сказал: – Очень приятно.

Обижаться было бы глупо с нашей стороны, тем более Борис Сумской, наверно, и не хотел нас обидеть. Просто ему показалось остроумным то, что сказал Узелков.

– Борис, – кивнул на Сумского Узелков. – Борис Аркадьевич будет сейчас делать доклад о религиозном дурмане. А перед докладом по его инициативе будем разбирать дело некоего Егорова. Борис Аркадьевич придает этому делу особое значение…

– Да, я считаю, это будет полезно для всей городской организации, вынул изо рта трубку Сумской. – Надо учить людей, вот именно, на конкретных примерах. А дело Егорова может послужить прекрасной иллюстрацией…

Мы не знали, кто такой Егоров и что у него за дело. Но Узелков нам тут же все объяснил:

– Егоров работал на маслозаводе, был, понимаете, комсомольцем. И однако, вместо того чтобы бороться против поповского дурмана, сам некоторым образом принял недавно участие в религиозном обряде, в так называемом крещении ребенка…

– Хорош! – улыбнулся Венька. – Значит, работает и нашим и вашим?

– Вот именно, – поднял перед своими глазами трубку Сумской. Поразительная, я бы сказал, беспринципность. Будет очень неплохо, если кто-нибудь из вас выступит сейчас по этому вопросу. Надо решительно разоблачить и пресечь, так сказать, в самом зародыше.

– Я не могу, – сразу отказался Венька. – К тому же я его не знаю,

этого… Егорова, что ли. И вообще я выступать не очень люблю. Даже просто не люблю. Из меня плохой оратор…

Сумской опять воткнул трубку в рот.

– Это не имеет значения, – ответил он, выпуская клуб густого душистого дыма.

И этот дым неизвестного нам, наверно, дорогого табака, и новенькая кожаная тужурка с черным бархатным воротником, и темно-синие галифе, заправленные в серые чесанки, и все, что мы раньше слышали о Сумском, немножко подавляло нас.

Это была, конечно, большая честь, что такой человек, приехавший из губернского центра, вот так, запросто, беседовал с нами. И все-таки Венька сказал:

– Нет, будет неудобно, если я выступлю. С чего это вдруг!

– Глупые! – точно с сожалением посмотрел на него и на меня Узелков. Это же прямое поручение губкома. Так надо. Уком уже исключил Егорова из комсомола. А теперь товарищ Сумской рекомендует сосредоточить на этом одиозном деле внимание всей организации. Поэтому нужно выступать… Это же губком комсомола в лице вот товарища Сумского обращается к вам и рекомендует выступить…

– Вот ты и выступи, – предложил я Узелкову.

Узелков засмеялся:

– Ох, какие вы странные! Я ведь могу выступить всегда. А товарищ Сумской хочет, чтобы сейчас выступали люди, так сказать, из массы…

– Вот именно, – поддержал его Сумской.

– И кроме того, я дам в газете очерк об этом деле, – пообещал Узелков. – У меня, в сущности, все написано постольку, поскольку я присутствовал на заседании укома, где Егоров был исключен из комсомола. Это собрание должно прозвучать как заключительный аккорд…

– Вот именно, – опять поддержал его Сумской. И медленно вынул из маленького брючного кармана часы на цепочке. – Надо, пожалуй, начинать…

– Пожалуй, – согласился Узелков.

А мы молчали.

Нам просто нечего было сказать.

Мы так молча сидели и в зале, когда перед нами за длинным столом, покрытым красной материей, уже разместился президиум.

Первое слово было предоставлено Сумскому. Но он долго не мог начать говорить, потому что ему долго аплодировали, хотя комсомольцев в зале сидело немного.

Тогда во всем городе комсомольцев насчитывалось не больше тридцати да в уезде еще пятнадцать или двадцать. Вот и вся уездная организация. И чуть ли не вся она собралась сейчас послушать известного Сумского.

– Я с ним учился в гимназии, – сообщил нам Узелков, усевшись рядом с нами в зале. – Он был в пятом классе, а я в третьем. Потом я ушел на производство, на аптекарский склад, а он на фронте был, на гражданской войне, в агитбригаде, и мы потеряли друг друга…

– Чего же ты его Борисом Аркадьевичем зовешь, если вы старые товарищи? – спросил я, вообще удивленный тем, что комсомольцы, хотя и старшего по возрасту, называют по имени-отчеству.

– Не люблю проявлять фамильярность, – сказал Узелков и встал. – Пойду возьму пальто. Здесь все-таки прохладно…

– А что такое фамильярность? – спросил я, ухватив его за полу толстовки, чтобы задержать.

– Вот то, что ты делаешь сейчас! – осердился Узелков. – Отпусти. Я тебе не девчонка…

И он пошел на вешалку взять пальто, хотя Борис Сумской уже начал говорить. Но Узелкову, наверно, заранее было известно все, что скажет Сумской.

– …Мировой капитализм опять грозит нам новой интервенцией. Около Якутска, недалеко от нас, все еще бродит со своими битыми войсками белый генерал Пепеляев, которого наняли американские промышленники совершить набег на Советскую Якутию, дабы они могли скупить по дешевке нашу пушнину. Римский папа размахивает своим золотым кадилом, призывая гром и молнии на наши головы. А в это время среди нас, в наших сплоченных рядах еще находятся комсомольцы, которые никак не могут освободиться от религиозного дурмана. Тут один шаг до предательства интересов пролетариата. И в этом смысле так называемое дело бывшего комсомольца Егорова весьма показательно. Поэтому нужно и необходимо приковать к нему внимание всей организации. Нужно и необходимо вскрыть до конца всю глубину падения этого человека…

Борис Сумской говорил медленно и тихо, уверенный, что его все равно будут слушать и никто не перебьет. Он говорил о том, что бюро укома комсомола поступило совершенно правильно и своевременно, исключив Егорова из рядов РКСМ. Надо, чтобы и другим было неповадно…

– Да в чем дело? – вдруг закричал Васька Царицын. – Ты сначала объясни, в чем дело! Для чего эти слова, когда мы еще ничего не знаем? Объясните, какой это Егоров? Это с маслозавода, что ли?

Зуриков, сидевший за длинным столом президиума, позвонил в колокольчик, призывая Царицына к порядку.

А Борис Сумской наклонил голову и удивленно посмотрел в зал поверх докторских очков.

– Я говорю, вы неправильно ведете собрание, – привстал на своем месте в зале Царицын. – Если есть какое-то дело Егорова, то пусть бюро с самого начала доложит собранию. А то, я слышу, тут уже какие-то выводы делаются. Это неправильно…

– Понятно, – кивнул головой Сумской. – Значит, здесь, на собрании, имеются элементы, желающие выгородить Егорова. Понятно. Но я должен предупредить, что это не выйдет. Не выйдет!

– Это имейте в виду, замечательный полемист, – кивнул на Сумского Узелков, уже накинувший на плечи пальто и опять усевшийся с нами рядом. С ним лучше не связываться. Судьба Егорова, к сожалению, уже решена.

В зале начался шум. Царицына поддержали еще три комсомольца. Зуриков, пошептавшись с членами президиума, наконец признал, что собрание ведется неправильно, не по Уставу.

Зуриков сам стал докладывать о деле Егорова.

– А где Егоров? – опять закричал Царицын.

– Егоров, ты здесь? – посмотрел в зал Зуриков.

– Я здесь, – откликнулся из задних рядов еле слышный голос.

– Пусть он выйдет, – предложил Царицын.

– Пусть он сам расскажет, как это было.

И тут все увидели высокого застенчивого паренька в черном кургузом пиджачке. Он медленно шел к столу президиума.

– Да мы же его знаем! – сказал мне Венька. – Это же Егоров, кажется, Саша, с маслозавода имени Марата.

– Ну да, – подтвердил я, – он, помнишь, тогда провожал нас на крышу, приносил лестницу.

И еще мы вспомнили, что этот Егоров занес к нам в угрозыск сумку с патронами, которую бросили бандиты, когда грабили маслозавод. Это было в прошлом году, летом.

А теперь вдруг Егоров завяз вон в какой-то истории и моргает перед собранием красными глазами; Что он, плакал, что ли? Почему у него глаза такие красные?

– Я жил у дяди на квартире, – рассказывал он, готовый и сейчас заплакать. – Это родной брат моей матери. Он выписал меня сюда, потому что я был безработный. Он очень хороший человек, но он женился во

второй раз, а жена у него хотя и молодая, но очень отстала в смысле религии…

– И ты, значит, с дядей пошел у нее на поводу? – спросил Царицын.

– Выходит, что так, – согласился Егоров. – Но в церковь я, даю честное комсомольское, не ходил…

– А это что? – показал бумагу Зуриков. И объяснил собранию: – Это заявление церковного старосты Лукьянова о том, что комсомолец Егоров; теперь бывший комсомолец, участвовал в церкви в церковном обряде крещения ребенка – дочери своего дяди, некоего гражданина Кугичева И.Г.

– Это вранье! – отмахнулся Егоров. – Вот ей-богу, это вранье! В церкви я не был. А церковный староста сердит на меня, что мы под рождество проводили агитацию против религии у нас на маслозаводе. И еще перед церковью спели песню: «Долой, долой монахов, долой, долой попов…» А этот церковный староста Лукьянов был мастером у нас на маслозаводе…

– Значит, ты проводил агитацию против религии, а потом сам же участвовал в крестинах? – опять вскочил со своего места Царицын. – И самогонку пил?

– Нет, самогонку не пил, – помотал головой Егоров. Потом, помолчав, будто вспомнив, добавил: – Настойку, правда, пил. Два стакана выпил…

Все засмеялись.

– А настойка на чем была настояна? – зло спросил вечно угрюмый Иосиф Голубчик. – На керосине?

– Нет, тоже на самогонке, – признался Егоров. – Но она сладкая, на облепихе… Я ее выпил два стакана…

И повесил голову, должно быть сам догадавшись, что получилось глупо.

– Жалко парня! – сказал я Веньке, показав на Егорова. – Теперь уж он не выкарабкается из этого дела. Каюк! И зачем он признался, что пил настойку? Даже два стакана…

– Очень хорошо, что признался, – одобрил Венька, вглядываясь в Егорова. – Честный парень. А что же он, будет врать?

– Я не мог не пойти на крестины, – лепетал Егоров. И зачем-то торопливо застегивал свой кургузый черный пиджачок, будто собираясь сию же минуту уйти отсюда. – Дядя бы обиделся. Я живу у дяди на квартире. Он устроил меня на работу. Выписал сюда. И это родной мой дядя. По моей матери он мне родной. У моей мамы раньше, до замужества, тоже была фамилия не Егорова, а Кугичева…

– Это не оправдание! – крикнул Царицын и взял слово в прениях.

Он предлагал подтвердить решение бюро укома:

– Нам двоедушных в комсомоле не надо, которые живут и нашим и вашим…

Царицын сказал те же самые слова, какие говорил Венька Малышев, когда мы сидели в буфете.

Потом почти так же выступал Иосиф Голубчик. Только Голубчик больше злился, сразу назвал Егорова хвостистом и слюнтяем.

– И еще слезы тут льет, ренегат!..

– Вот это наиболее точное определение, – указал мне на Голубчика Узелков. – Егоров именно ренегат. Я лично только так бы это квалифицировал…

Ренегатами тогда часто в газетах называли европейских социалистов, заискивавших перед буржуазией.

Егоров подтянул к запястью короткий, не по плечу рукав и рукавом вытер лицо.

– Мне особенно противны эти лицемерные слезы, – скривился в его сторону Голубчик. – Не разжалобишь. Мы боевые комсомольцы. Мы слезам не верим…

При этих словах Венька Малышев поднял руку, попросил слова и, скинув на стул телогрейку, пошел к столу президиума быстрой походкой, высокий, плечистый, заправляя на ходу под ремень суконную серую гимнастерку.

– А я верю слезам! – сердито посмотрел он на Голубчика. – И я бы, наверно, сам заплакал, если бы меня исключили из комсомола. Это не шуточное дело. И нечего тут подхахакивать и подхихикивать, как вот делает товарищ Сумской. Я даже удивляюсь, что такой крупный работник подхихикивает. Чего ты тут увидел забавное?

Узелков даже ахнул, сидя рядом со мной.

– Ну, это Малышев лишнее на себя берет! Борис Сумской – это ему все-таки не Васька Царицын. Это работник губернского масштаба…

А Венька Малышев продолжал:

– Я еще не вижу в этом деле полного состава преступления. Если начать расследовать это дело по-настоящему…

– Здесь не уголовный розыск, – громко произнес Сумской.

И в зале кое-кто засмеялся.

Этот смех сбил Веньку.

– Я, конечно, не оратор, – как бы извинился он после долгой паузы. – Но я считаю, что говорить про Егорова «бывший комсомолец» еще рано. Еще надо это дело все-таки… доследовать. Я подчеркиваю – доследовать.

Подозрительно мне, что тут некоторые готовы верить церковному старосте и не верить комсомольцу Егорову. С каких это пор церковные старосты стали заботиться о чистоте рядов комсомола? Я не буду голосовать за исключение товарища Егорова, я подчеркиваю – товарища, пока не увижу убедительных улик, что ли…

– Может, тебе представить еще вещественные доказательства? – усмехнулся Сумской.

– Да, мне нужны доказательства, – подтвердил Венька. – И всем, я думаю, нужны. Не только мне. Вот на этом я настаиваю очень твердо. И уверен, что вы, ребята, меня поддержите, потому что, я считаю, комсомольская организация должна не только наказывать, но и защищать комсомольца, когда на него возводят какую-то… ерунду или что-нибудь вроде этого. Я так считаю…

В зале было уже темно. А когда в президиуме зажгли большую керосиновую лампу, в зале, особенно в последних рядах, стало еще темнее. Поэтому мы не сразу рассмотрели девушку, взявшую слово после Малышева. И только когда дна заговорила, мы узнали Юлю Мальцеву.

– Я вполне согласна с этим товарищем, который только что выступал, подняла она голову и поправила гребенку в пышных волосах. – Я не знаю его фамилии, но я с ним вполне согласна. Он ставит вопрос совершенно серьезно, по-комсомольски…

Веньке, вернувшемуся на свое место рядом со мной, вдруг стало душно. Он расстегнул ворот гимнастерки. Лампа, стоявшая на столе президиума, хорошо освещала Юлю. Видно было даже, как шевелится у нее на груди белый лебедь, вышитый на мохнатом свитере.

Таких свитеров комсомолки тогда еще не носили. Юля, наверно, связала его сама. Так думалось мне. Так хотелось думать. И я следил напряженно за каждым ее движением.

Царицын опять поднял руку, опять попросил слова.

– Это, может, получается, глупо, – усмехнулся он. – Но я сейчас послушал выступления, особенно выступление вот товарища Малышева Вениамина, продумал свои слова и вижу, что я поторопился. Я, товарищи, хочу прямо признать, что я поторопился. Я тоже не буду голосовать за исключение товарища Егорова. Это дело надо продумать. В этом деле еще надо разобраться…

Венька Малышев мог бы гордиться, что он повернул весь ход собрания. Все выступавшие после него говорили в защиту Егорова.

Зуриков, снова пошептавшись с членами президиума, согласился, что в этом деле допущен перехлест, что решение по этому делу надо, пожалуй,

пересмотреть. И решение тут же пересмотрели.

Егорову поставили только на вид, но предупредили, чтобы он больше не участвовал в крестинах и во всяких религиозных обрядах, а также пьянках и тому подобных недостойных действиях. Егоров, растерявшись от счастья, продолжал сидеть в президиуме у лампы, красный и вспотевший. Но Венька больше не смотрел на него.

Венька словно забыл о нем и обо всем, что происходит на собрании. Он, мне кажется, не слушал и доклад Бориса Сумского, в общем, как я помню, интересный доклад. Он все время поворачивал голову и, сильно морщась от боли в плече, смотрел на черное полукруглое монастырское окно, где сидела с подругой почему-то на подоконнике Юля Мальцева, хотя в зале было много свободных мест.

– Шею сломаешь, – пошутил я и потом предложил в конце собрания: Пойдем познакомимся с ней…

– Пойдем, – покорно отозвался он, как загипнотизированный. И, еще раз взглянув на нее, похвалил: – Принципиальная.

Это была наивысшая похвала, какую мог произнести Венька. Ему всегда нравилось это слово и смысл его. Вспоминая о своем отце, он говорил: «Это был замечательный, принципиальный старик. Колчаковцы ему давали десять тысяч царскими деньгами, чтобы он повел бронепоезд, можно было дом купить, а он лучше готов был под расстрел».

После собрания мы решились подойти к Юле. Уже направились к тому окну. Но к нам подошел Егоров.

– Вот пусть вся жизнь моя пройдет – и все равно, товарищ Малышев, я тебя буду вспоминать, – сказал Егоров. – Вот, ей-богу, даю тебе честное ленинское, самое честное слово. Если б сейчас не ты, я не знаю, что было бы… Я, наверное, – даю слово, – утопился бы или еще чего сделал, если бы меня исключили из комсомола. Даю слово…

– Ну, ладно, будет ерунду-то собирать, – поморщился Венька, продолжая смотреть в ту сторону, где сидела Юля.

Юли уже не было видно. Но вот она опять появилась в зале. Она, должно быть, кого-то искала. «Может быть, нас?» – подумал я.

– Нет, ты, правда, меня спас, – говорил Егоров, вытирая платком вспотевшее лицо. – Этого я даже не ожидал… И никто не ожидал. Все уже думали, что я готовый, что меня никто уж не выручит ни за что…

А Юля стояла недалеко от нас под низкими сводами. Нас она не могла увидеть за колонной. Да, может, она и не нас искала. Даже скорее всего не нас. Может быть, она искала Узелкова.

– Я уже был уверен, что меня тут заклюют и закопают, – вздыхал

Егоров, вытягивая руки, точно желая обнять Веньку и все-таки не решаясь. – Как этот Сумской начал говорить про мировой капитализм и про папу римского и меня тут же вспомнил, я прямо весь обмер. Ну, думаю, конец мне. А ты меня выручил…

– Да зачем мне надо было тебя выручать? – вдруг осердился Венька, увидев, что Юля ушла. – Чего это ты причитаешь? Для чего? Никто тебя не выручал, а просто ребята увидели, что все делается неправильно. И ты тут ни при чем. Тебе бы надо было выговорок записать. Но ты честно сознался. Поэтому никто не настаивал. А если в следующий раз опять пойдешь на крестины, тебя уж никто не выручит…

– Я никуда теперь не пойду, – сказал Егоров. – Мне теперь все равно не будет жизни на маслозаводе…

Но Венька его не слушал. Он шел все быстрее по узкому монастырскому коридору, будто надеясь догнать Юлю Мальцеву.

А Юля, наверно, как думал я, идет сейчас уже по улице, может, под ручку с Узелковым.

Еще днем около клуба лежал смерзшийся снег, а к ночи его растопило и развезло, и вдоль тротуара шумел ручей.

На улице было темно и сыро.

Только у двухэтажного каменного здания горсовета, у бывшего особняка купца Махоткина, горели на чугунных столбах старинные шестиугольные керосиновые фонари. И в желтом свете этих фонарей еще толпились парни и девушки, вышедшие из клуба после комсомольского собрания.

Издали видно было Бориса Сумского. Он размахивал руками, будто дирижировал.

Я подумал, что и Юля Мальцева где-нибудь здесь стоит. Но ее не было. И Узелкова не было. Значит, верно, он пошел ее провожать.

Мы шли по мокрым изломанным доскам тротуара. Вдруг доска зашаталась под нами. Это кто-то догонял нас.

Привыкшие к неожиданностям, мы сразу расступились. И в ту же минуту сконфузились, потому что нас догонял не кто-нибудь, а Узелков.

– Да, Вениамин, – сразу начал он, – испортил ты мне сегодня работку. У меня даже эпиграф был подобран: «В столицах шум, кипят витии, идет журнальная война. А там, во глубине России, там вековая тишина».

– Ты о чем? – спросил Венька.

– О том же! – засмеялся Узелков. – Об этом самом Егорове. Это же типичный обыватель, как его характеризовал Борис Сумской, обыватель с комсомольским билетом. Я уже было очерк о нем написал. А ты…

– Ты сам обыватель, – поглядел на него сверху вниз Венька. – Егоров честный парень. А ты только ищешь в людях какую-нибудь пакость. Тебе бы только написать, только бы перед кем-то выслужиться…

– Может быть, товарищ Малышев, ты поточнее скажешь, перед кем я, по-твоему, выслуживаюсь? – с угрозой в голосе спросил Узелков, стараясь в то же время удержаться на шаткой, доске, проложенной на двух бревешках над вязкой грязью.

– Я не знаю, перед кем ты выслуживаешься, – перепрыгнул через лужу Венька, – но я вижу, что тебя все время тянет на вранье, как муху на сладость…

– Поучи меня, поучи! – насмешливо попросил Узелков и остановился у конца доски, не решаясь перепрыгнуть через лужу.

Венька протянул ему руку.

– Не беспокойся, я не барышня! – обидчиво вскинул голову Узелков, но все-таки ухватился за руку Веньки и перепрыгнул на островок обледенелого снега. – Что ты можешь понимать в том, что такое правда и что такое, как ты выражаешься, вранье? – сказал он, ощутив под ногами сравнительно твердую почву. – У тебя от недостатка образования эмпирическая смесь в голове. Ты – типичнейший эмпирик и эклектик… И кроме того, ты заражен так называемой христианской моралью. Ты читал тезисы по антирелигиозной пропаганде?

– Ничего я не читал, – ответил Венька, – но я вижу, ты всех стараешься подогнать под какие-то тезисы. Ты и Егорова хотел сегодня подогнать. А если б у тебя была настоящая комсомольская совесть при твоем образовании…

Узелков опять гордо вскинул голову.

– Совесть? Что касается совести, как ты ее понимаешь, и всякого правдоискательства, так я это предоставляю разным вульгаризаторам вроде тебя, товарищ Малышев. Меня христианская мораль не интересует. Мне сюда, завернул он за угол.

Я все-таки успел ухватить его за полу.

– А что такое христианская мораль? – спросил я.

– Христианская мораль? – Узелков остановился. – Не знаете?

– Если б знали, не спрашивали бы, – сказал Венька.

– Христианская мораль… Как бы это вам объяснить наиболее популярно… Христианская мораль – это прежде всего запугивание человечества всесильным божеством. Церковники внушают верующим, что, если человек украдет, солжет или сделает еще какую-либо подлость, его обязательно накажет бог. То есть внушают такую мысль, что человек

должен вести себя благородно под страхом божественного наказания. Под постоянным страхом…

– А если бога нет, значит, можно врать и обманывать? – спросил Венька.

– Я этого не говорил, – засмеялся Узелков.

Вынул из кармана свежую пачку папирос, разорвал ее с угла, вытряс на ладонь три папиросы. Одну зажал в зубах, две протянул нам. Потом достал спички.

Ветер, стремительный, предвесенний, дующий сразу с трех сторон на этом перекрестке, мешал прикурить. Узелков нервничал.

Венька взял из его цыплячьих лапок коробок. Мгновенно прикурил и, держа горящую спичку в согнутых ладонях, как в фонарике, дал прикурить Узелкову и мне.

– Вот это я понимаю – ловкость рук! – пошутил Узелков. – Есть вещи, которым я завидую…

– Чему ты завидуешь? – спросил Венька.

– Ну вот хотя бы тому, что ты умеешь так ловко на ветру зажечь огонь и удержать его в руках.

– Огонь я могу удержать, – поднял все еще горящую спичку Венька. – Но ты погоди, ты не темни. Ты скажи откровенно, как ты сам считаешь: Егоров сейчас был виноват?

– До известной степени…

– До какой степени? Ты в точности скажи: надо было его исключать из комсомола?

– Какое это имеет значение, надо или не надо? – выпустил дым Узелков.

– Нет, ты прямо скажи, по своей совести – христианской или нехристианской, – его надо было исключать из комсомола? Он был сильно виноват?

Узелков улыбнулся:

– Как выяснилось на собрании, не сильно…

– Что ж ты взялся писать о нем и срамить его, если он не сильно виноват? – спросил я.

– Вот-вот! – поддержал меня Венька, пристально вглядываясь в Узелкова. – Вы с Борисом Сумским хотели вроде пустить под откос хорошего парня. И ни с того ни с сего…

Узелков наклонился завязать шнурок на башмаке. Завязал, выпрямился.

– Это вам так кажется, что ни с того ни с сего. А если б вы читали

тезисы по антирелигиозной пропаганде, вы так не рассуждали бы. Иногда в политических интересах надо сурово наказать одного, чтобы на этом примере научить тысячи… И тут уж нельзя проявлять так называемой жалости и мелкобуржуазной мягкотелости…

– О-о! – вдруг как будто застонал Венька и выбросил в лужу папироску.

Я подумал, что у Веньки уже совсем нестерпимо разболелось плечо, и, кивнув на Узелкова, сказал Веньке:

– Да ну его к дьяволу с этими разговорами! Пойдем. А то ты опоздаешь к Полякову…

– Нет, погоди, – оттолкнул меня Венька. – Так, значит, ты, Узелков, считаешь, что можно сурово наказывать даже не сильно виноватого, лишь бы кого-то там научить? А это будет чья мораль?

– Я морали сейчас не касаюсь, – чуть смешался Узелков и стал потуже обматывать шею шарфом. – Мы говорим о более серьезных вещах. Егоров не какая-то особенная фигура. В огромном государстве, даже в пределах одной губернии, его и не заметишь. Как какой-нибудь гвоздик. А тем не менее на его деле мы могли бы научить многих…

– Вот ты какой! – оглядел Узелкова Венька. – А с виду тихий. А что, если тебе самому сейчас пришить дело? Что, если, например, тебя самого сейчас выгнать из комсомола и отовсюду и потом начать всех учить на твоем деле?

– Я же не был на крестинах, – в полной растерянности проговорил Узелков. – И кроме того, – он взглянул на скользкий снег под ногами, – я, кажется, промочил ноги.

– Иди скорее грейся! – сказал Венька. – Не дай бог, простынешь. Кто же будет тогда других учить… разным жульническим приемам?

– Поаккуратнее, – попросил Узелков. – Поаккуратнее в выражениях. А то я могу поставить вопрос и о тебе, о твоих идейных взглядах…

– Поставь! – махнул рукой Венька.

И мы свернули в переулок, в совершенную тьму, где надо было идти, прижимаясь к забору, чтобы не попасть в глубокую грязь, тускло мерцавшую среди маленьких островков льда и снега.

– Теоретик! – засмеялся я, оглянувшись на Узелкова. – Он, наверно, и перед Юлькой Мальцевой развивает такие теории. Он же сам рассказывал: она играет на гитаре и поет романсы, а он разводит вот такую философию…

– Юля тут ни при чем, – странно тихим голосом произнес Венька. – И ни к чему ее впутывать в эту ерунду… А мы с тобой как слепые котята,

вздохнул он, оступившись на тонкой полоске снега и провалившись одной ногой в грязь. – Даже как следует поспорить не умеем. Я только чувствую, что Узелков говорит ерунду. Не может быть, что есть какие-то тезисы, по которым надо врать и наказывать невинного, чтобы чего-то такое кому-то доказать. Не может этого быть. Я считаю, врать – это, значит, всегда чего-то бояться. Это буржуям надо врать, потому что они боятся, что правда против них, потому что они обманывают народ в свою пользу. А мы можем говорить в любое время всю правду. Нам скрывать нечего. Я это хорошо понимаю без всяких тезисов. Но объяснить не могу. Он мне тычет христианскую мораль, намекает вроде, что я за попов. И я немножко теряюсь. А он держится перед нами как заведующий всей Советской властью. И как будто у него есть особые права…

– Да ну его, он трепач! – сказал я.

– Нет, он не трепач, – возразил Венька и добавил задумчиво: – Он, пожалуй, еще похуже, если в него вглядеться…

Впереди нас вдоль забора, цепляясь за забор, за старые, трухлявые доски, продвигался человек. Мы сразу узнали Егорова. И он, конечно, узнал нас, но не заговорил. Он просто молча шел впереди по узенькой кромке обледеневшего снега.

Венька окликнул его:

– Ты куда сейчас?

– Домой, на маслозавод.

– О, это далеко, особенно по такой грязи! И главное, темно, – сказал Венька. И еще спросил: – А чего это ты говорил, что тебе теперь не будет жизни на маслозаводе?

– Ну, это долго объяснять, – уклонился Егоров.

Видимо, он все-таки обиделся, что Венька его не дослушал в клубе. И Венька это сейчас почувствовал.

– А то, хочешь, идем к нам ночевать, – пригласил он. – Можем постелить тебе тюфяк. Попьешь чаю. – И пошутил: – Облепиховой настойки у нас нет, а чай найдется, даже не с сахарином, а с сахаром…

– Нет, спасибо, – отказался Егоров, – я пойду домой. Утром рано вставать. – Голос у него был невеселый.

На площади Фридриха Энгельса он попрощался с нами и уж совсем невесело сказал:

– Вам хорошо, ребята!

– Чем же нам хорошо? – спросил я.

– Всем хорошо. У вас работа хорошая. Постоянная. Вас никто не тревожит…

Венька засмеялся.

– Вот это ты в точности угадал, что нас никто не тревожит! Может, тебя устроить на нашу работу?

– А что, я бы пошел! – оживился Егоров. – У вас ни перед кем унижаться не надо…

– А ты перед кем унижаешься?

– Ну, это сразу не расскажешь, – опять уклонился Егоров. И показал рукой: – Мне теперь вот прямо под гору. Ох, и скользко там сейчас!

– А то действительно пойдем к нам, – предложил я.

– Нет, ничего, не надо, я доберусь, – пошел через площадь Егоров. И повторил: – Я доберусь…

– Вот что, – крикнул ему Венька. – Если будешь в наших краях, заходи. Мы тут живем недалеко, на Пламя революции, шестнадцать. Обязательно заходи…

– Ладно, то есть спасибо! – уже из темноты откликнулся Егоров.

Ему надо было идти под гору, потом через мост, все время лесом.

А мы пошли по улице Ленина, где горело несколько керосиновых фонарей и рядом с ними висели в проволочных сетках электрические лампочки, которые должны были загореться к Первому мая, когда будет пущена электростанция.

Мы пошли мимо бывшего махоткинского магазина, мимо магазина Юли Мальцевой, как мы мысленно называли его, и с грустью посмотрели на огромный, чуть покрытый ржавчиной замок, висевший на обитых железом дверях.

Эх, Юля, Юля! Наверно, и в пятьдесят лет и позже не разгадать мне, что же было в тебе такое притягательное, что увлекало, и радовало, и мучило нас. Но ведь было что-то, от чего и волновались и робели мы перед тобой. И даже замок твоего магазина вдруг наполнял нас сердечным трепетом.

14

Венька был решительным и смелым, хитрым и даже грубым, беспощадно грубым, когда требовали обстоятельства.

Таким его знали многие. Но мало кто знал, что он же бывает застенчивым и нерешительным.

В окнах нашей амбулатории, или «предбанника», как мы ее называли, было уже темно, когда мы проходили мимо. Поляков, должно быть, лег спать. И Венька постеснялся разбудить Полякова, хотя плечо у Веньки разболелось так, что я думал, он в самом деле сойдет с ума.

Он метался всю ночь на узенькой своей кровати, бредил, скрежетал зубами. То сердито, то жалобно и нежно звал Юльку, называл ее Юлией, Юленькой. То вдруг открывал глаза и разумно спрашивал:

– Я кричу?

– Нет, что ты!

– Ну, тогда извини, пожалуйста. Спи. Нам рано вставать. Мне чего-то такое приснилось. Ерунда какая-то…

И опять начинал бредить.

– Отойди! – кричал он кому-то. – А то я покажу тебе сейчас христианскую мораль.

И ругался с такой свирепостью, что сразу разрушил нашу репутацию в глазах богобоязненной нашей хозяйки.

– Никак, напились, – объяснила она за дверью соседке. – А были на редкость смирные ребята. Несмотря что из уголовного розыска.

Во втором часу ночи я все-таки пошел и разбудил фельдшера Полякова.

Заспанный, сердитый, Поляков осмотрел Венькино плечо и развел руками.

– Что же я теперь могу поделать? Ведь я же не врач-хирург, я только всего-навсего деревенский фельдшер. А это уже начинается, кажется, заражение крови. Вам понятно, что такое заражение крови?

– Понятно, – сказал я. – Надо немедленно что-то делать…

– Делайте что хотите, а я отмываю руки, – пожал плечами Поляков. – Я вам предлагал Гинзбурга?

– Ну, предлагали.

– А теперь Гинзбург уехал в Ощепково. И оттуда уедет прямо к себе. А я отмываю руки. Это уж не по моей специальности.

Тогда я вынул из-под подушки кольт, положил его на стол и сказал Полякову:

– Вот это вы видите, Роман Федорович? Если Венька умрет, я вас – даю честное комсомольское – в живых не оставлю. Я вас тогда на краю земли найду. И из земли выкопаю…

– На это вы только и способны, – презрительно вздохнул Поляков, опасливо покосившись на кольт. – Ну хорошо, тогда я сейчас съезжу в Ощепково. Может, я еще Гинзбурга найду. Хотя я, конечно, не ручаюсь. Может, Гинзбург уже дальше проехал…

Веньку поместили в уездную больницу, которой заведовал родной брат нашего Полякова – тоже фельдшер – Сергей Федорович. Такой же длинный и сухощавый и такой же малограмотный, он, однако, отличался от своего брата необыкновенной важностью.

– Здесь медицинское учреждение. Посторонних попрошу удалиться, – сказал он сразу же, как Веньку уложили на койку против окна.

Посторонним был тут только я. Но я не мог удалиться, не хотел удаляться. Я ждал, когда приедет Гинзбург.

У Веньки опять начался бред. Он, должно быть, вспоминал в бреду поездку в Воеводский угол, на кого-то сердился, что-то искал под одеялом. Наверно, пистолет искал. И вдруг ясно, неожиданно ясным голосом, позвал:

– Ну, Юля, подойди сюда! Ну, не бойся, подойди…

Мне было неприятно, что при этом присутствует заведующий больницей. Чтобы отослать его, я спросил:

– У вас есть термометр?

– У нас все есть, уважаемый молодой человек, – сказал заведующий. – Но посторонние, еще раз повторяю, должны удалиться. Мы будем обрабатывать больного согласно нашим правилам…

– Вы не будете обрабатывать больного, – твердо сказал я. – Пусть сперва приедет Гинзбург.

А Гинзбург все не приезжал.

Начался тоскливый, медленный рассвет.

На рассвете я разглядел, что окно, подле которого лежит Венька, выходит прямо на погреб, украшенный большой, старинной, чуть поржавевшей по краям вывеской с твердым знаком: «Для усопшихъ».

– Вы бы хоть вывеску убрали, – показал я заведующему. – Для чего эта вывеска? Вы же сами знаете, где у вас хранятся усопшие…

– Мы-то знаем. А родственники? Тут же каждый день родственники забирают усопших…

– Неужели каждый день?

– Каждый день. А как же вы хотели? Тут же больница, приемный покой…

Я не думал, что Венька вот сейчас умрет в больнице. Я знал, что Венька сильный и обязательно выживет. Но я не хотел, чтобы он открыл глаза и увидел своими глазами эту вывеску, которая хоть кому испортит настроение.

Я вышел во двор, залез на земляную кровлю погреба и сорвал вывеску.

Заведующий позвонил нашему начальнику. Он кричал с визгом и стоном в телефонную трубку, что тут сотрудники уголовного розыска ужасно озоруют, что, если сейчас начальник лично не прибудет сюда, они, эти сотрудники, чего доброго, разнесут все лечебное учреждение.

Вскоре наш начальник прибыл в больницу. Он сердился, ругал меня, грозился посадить под арест. И не за то, что я оторвал вывеску, а за то, что вовремя не известил его о таком несчастье с Вениамином Малышевым.

От шума, поднятого сперва заведующим больницей, а затем нашим начальником, не только проснулись все больные, но очнулся и Венька, которому заведующий уже успел положить на голову резиновый мешочек со льдом.

И на Веньку тоже напустился начальник.

– А ты что тут разлегся? – кричал он на него. – Где же ты раньше-то был? Почему скрывал такое дело? Разве ты не знаешь, что ты от такого дела можешь в любую минуту помереть?

– Ну уж, помереть… – тихо сказал Венька, стараясь приподняться в присутствии начальника.

– Свободно можешь помереть, – подтвердил начальник. – Я даже знал одного мужика, который вот так же от глупости своей помер.

Я понял, что напрасно оторвал вывеску.

Наш начальник кричал не только на меня и на Веньку, но и на заведующего больницей, как будто он тоже ему подчиняется. Он оглядел всю больницу, всех больных, нашел, что тут очень грязно и душно, велел проветрить помещение и сам раскупорил и распахнул в коридоре окно.

В это время и прибыл доктор Гинзбург.

Очень шустрый старичок с черными внимательными глазами и острой бородкой, он делал все так быстро, уверенно и ловко, что мне вдруг самому захотелось стать доктором, и именно хирургом. «А кто знает, может, еще и стану», – подумал я.

Доктор Гинзбург не просил удалиться посторонних. Он при нас раздел Веньку, протер ему грудь и плечо спиртом, поудобнее усадил на кровати,

для надежности, привязал полотенцем, дал чего-то попить. И Венька даже ойкнуть не успел, как доктор разрезал плечо и стал выдавливать ватой какую-то гниль, чуть не погубившую Веньку.

Не только мне, но и нашему начальнику понравилось, как работает доктор Гинзбург. Начальник поблагодарил его и сравнил эту работу с цирковой, что, конечно, было наибольшей похвалой в устах нашего начальника. Но доктор сказал, что это не бог весть какая сложная операция, что бывают операции много сложнее, и похвалил Веньку за его спокойствие и железный организм.

– Организм такой, – сказал доктор, – рассчитан на добрую сотню лет. Прекрасный молодой человек богатырского телосложения.

И нам это было особенно приятно, как будто он хвалил нас самих и все наше учреждение, тем более что доктор произнес к тому же и уважительные слова о нашей, как он выразился, общественно полезной и, в сущности, чрезвычайно опасной деятельности.

Наверное, я думал, из уважения к Вениамину Малышеву доктор Гинзбург задержался в Дударях еще на несколько дней. Он уехал, когда процесс заживления раны пошел, по его словам, весьма активно. Но Веньке он все-таки приказал лежать в больнице. И начальник строжайше подтвердил этот докторский приказ.

Навещать Веньку приходили в больницу по очереди все сотрудники нашего учреждения. И даже из других организаций приходили ребята.

Пришел и Саша Егоров с маслозавода. Он принес в подарок бутылку кедрового масла и сказал, что уже окончательно расплевался теперь со своим дядей и уезжает завтра к сестре.

Веньке вдруг почему-то стало жаль расставаться с этим Сашей, которого он, правда, выручил из беды. Бутылку с кедровым маслом он не взял, сказал, что ему харчей хватает, а масло посоветовал увезти сестре – оно там больше пригодится, если у сестры, тем более, трое маленьких детей.

– Ты нам лучше напиши письмо, – попросил Венька Егорова. – Нам же интересно будет, как ты там устроишься, как тебя встретит сестра, какую ты найдешь работу.

– Работу я теперь, однако, не скоро найду, – погрустнел Егоров. – Вы сами знаете, какая безработица. Но я все равно решил отсюда уехать. Все-таки у меня там сестра.

Венька уже свободно ходил по всей больнице и по двору. Он проводил Егорова до ворот, попрощался с ним и потом сказал мне:

– Вот посмотри, какой у меня характер привязчивый! Ну, кто мне этот

паренек? Я всего-то несколько раз его видел. А вдруг почему-то прикипел я к нему. И мне жалко, что он уезжает…

Венька вернулся в палату и стал точить на ремне бритву, чтобы побриться.

Один конец ремня он укрепил на гвоздике, вбитом в подоконник, другой держал в зубах.

В это время пришел навестить его Васька Царицын, который ходил к нему в больницу почти так же часто, как я.

Васька принес в подарок Веньке кедровых орехов, сам же щелкал их тут и бережно собирал скорлупки в кулак. При этом он рассказывал разные новости и между прочим сообщил:

– А эта Юлька Мальцева все время, как я ее встречу, про вас спрашивает. И вчера на репетиции опять спрашивала. Больше, конечно, спрашивает про Веньку.

Венька продолжал точить бритву и стоял лицом к окну, чтобы свет падал на ремень. Поэтому мне видно было только одну его щеку. И видно было, как к ней приливает густая, горячая краска.

– Будет ерунду-то пороть, – сказал он Ваське, не поворачиваясь к нам, но выпустив из зубов конец ремня.

– Нет, я правду говорю, – разгорячился Васька. – Я ее даже так понимаю, Юльку, что она хотела бы к тебе в больницу зайти. Хочешь, Венька, я ее приведу?

– Для чего это? – спросил Венька и снова ухватил зубами конец ремня.

– Просто так. Хочешь, приведу? Она же почти рядом со мной живет: Кузнечная, шесть.

Венька промолчал. Он стал пробовать бритву на ногте, очень ли острая она.

А я спросил Ваську:

– Ну, а ты сам-то что же? Ты же сам как будто ухаживал за Юлькой? Даже, я помню, собирался жениться…

– Да какой я жених? – чуть смутился Васька. – Тем более для Юльки Мальцевой. Она бы только посмеялась надо мной, если б узнала. Она надо всеми смеется. Чересчур образованная.

– А Узелков? – спросил я, стараясь не выдать своей заинтересованности. – Он ведь, по-моему, главный ухажер?

Васька вдруг сам засмеялся.

– Узелков – это одна комедия. С кем ты его равняешь? Венька и Узелков. Ну какое же может быть сравнение! Узелков же всего только обыкновенный черный жук против него.

И показал глазами на Веньку, уже легонько направлявшего бритву на оселке. Он делал вид, что совсем не слушает Ваську.

Васька покрутился тут, в палате, еще минуты две и, попрощавшись, ушел.

А Венька сел бриться. Он намыливал щеки, смотрелся в зеркало и молчал. И я тоже молчал. Однако молчание Веньки было почему-то неприятно мне. Мне хотелось, чтобы Венька хоть что-нибудь сказал по поводу Васькиных слов. Мы приятели, нам следовало бы обсудить Васькины слова о Юльке.

Я терпеливо ждал, что скажет Венька. Но он молча выбрил одну щеку и начал брить другую.

Бриться ему было трудно одной рукой. Я удивился, что он бреется, не натягивая кожу на щеке, как делал я, как делают все. И еще я удивлялся уж слишком спокойному выражению его лица, будто ничего здесь не произошло, будто Васька и не приходил вовсе и ничего не говорил. Правда, два раза Венька поморщился, но это оттого, что бритва шла против волоса.

Мне вдруг захотелось, чтобы он порезался.

Но он побрился благополучно, вытер тщательно бритву и, спрятав ее в футляр, стал, не взглянув на меня, собирать со стола бумагу, испачканную мылом. Потом он сказал:

– Вот я и побрился.

– Можешь, – ехидно сказал я, – идти в магазин. Наверно, еще не закрыли, Юлька там.

Венька ничего мне на это не ответил. Взяв кисточку, выжал ее в стаканчик и понес стаканчик во двор, чтобы выплеснуть грязную воду.

Вернувшись, он, улыбаясь, спросил:

– Ты чего злишься? Влюблен?

– В кого это я влюблен?

– В Юльку, что ли?

– Не угадал, – сказал я и тоже улыбнулся.

– А в кого?

И тут я соврал непонятно для чего, может быть, из гордости.

– Нет, – сказал я, – нисколько я в нее не влюблен. Был влюблен, правда. Но теперь прошло. Мне сейчас другая девушка нравится.

– Катя Петухова?

Я зачем-то утвердительно мотнул головой, хотя библиотекарша мне никогда не нравилась.

– Честное слово? – спросил Венька и пристально посмотрел на меня.

Я подумал и сказал твердо:

– Честное слово.

И в эту минуту сам поверил, что мне действительно нравится не Юлька, а Катя Петухова. Я даже почувствовал какое-то облегчение. Венька шагал по комнате взад-вперед и опять молчал.

Утром я поехал в деревню Покукуй, где минувшей ночью произошло убийство с целью грабежа.

Убитым оказался заведующий кооперативом. А сторожа бандиты связали знаменитыми тогда сыромятными ремешками-ушивками, отличавшимися, как мы писали в протоколах, «большой прочностью и свойством крепости узла при завязывании».

Пока я вел расследование в Покукуе, пришло известие, что точно такие преступления на рассвете совершены в Покаралье, в Уяне и в Ючике. В Уяне, помимо ремешков-ушивок, были найдены на месте преступления еще охотничье ружье марки «геха», имеющее свойство поражать большую площадь рассеиванием картечи при выстреле, и американская винтовка марки «винчестер», обладающая большой дальнобойностью.

Эти вещественные доказательства, попавшие в наши руки, говорили о многом.

Во-первых, они попали к нам в руки именно потому, что в одной из деревень, в Уяне, сами жители, главным образом промысловые охотники, оказали серьезное сопротивление бандитам – трех убили.

Это уже отрадная новость. И многозначительная. Значит, жители все активнее вступают в борьбу против бандитов.

Это я с удовольствием записал в сводку.

Во-вторых, оружие, оставленное бандитами в Уяне, выглядело совершенно новым. Оно и выпущено совсем недавно – в прошлом году. Значит, бандиты все еще снабжаются новым оружием, может быть, прямо из-за границы.

Это тоже очень важный факт. И его я тоже отметил в сводке.

Однако больше всего меня занимали ремешки-ушивки.

Не первые распустившиеся на деревьях листочки, не горячее солнце, а именно эти ремешки-ушивки свидетельствовали, что весна уже началась и на днях у нас вдвое, втрое, вчетверо прибавится работы.

Ремешки-ушивки – это изобретение неуловимого Кости Воронцова, «императора всея тайги». Значит, он уже выходит на простор. Первые убийства и грабежи – дело рук его банды.

Я доложил об этом начальнику. Потом пошел в больницу.

Было обеденное время. Венька, как все больные, ел из алюминиевой тарелки манную кашу с постным маслом.

– Пусть это все валится ко всем чертям! – сказал Венька, выслушав меня, и так отодвинул тарелку, что она скатилась со стола. – Пусть заведующий сам доедает эту кашу. А я сегодня же ухожу из больницы…

– А начальник? Он же тебе твердо приказал…

– Пусть он что хочет приказывает! – обозлился Венька. – Пусть он хоть сам ложится сюда, а я ухожу. Я всю осень готовил дело. И еще зимой налаживал. А теперь я буду тут лежать? Нет, дураков нету тут лежать…

Венька снял больничный байковый халат, от которого пахло щами, лекарствами и еще чем-то удушливым, надел все свое, принесенное санитаром из кладовой и пахнущее теперь мышиным пометом и сыростью, подарил санитару за услуги зажигалку, сделанную из винтовочного патрона, попрощался с больными, пообещал как-нибудь зайти сыграть в шашки, и мы пошли к начальнику.

Начальник сейчас же вызвал нашего Полякова, велел в своем присутствии осмотреть Венькино плечо и, не поверив фельдшеру, еще сам осмотрел.

– Заживает? Как сам-то чувствуешь, заживает?

– Зажило уже, – сказал Венька. – Я чувствую, что зажило.

– Нет! – покачал головой начальник. – Дней этак десять надо еще полежать. А ты как считаешь, Поляков?

Поляков поднял нос, понюхал воздух, как всегда делал в затруднительных случаях, и согласился с начальником.

– А Воронцова кто будет ловить? – сердито посмотрел Венька на Полякова. – Вы, что ли?

– Это уж не по моей части, – чуть отступил Поляков.

– Вот в том-то и дело, – сказал Венька. – Мне надо ехать в Воеводский угол. Просто очень срочно. Может, даже сегодня. Я и так, наверно, пропустил время. А вы, Роман Федорович, я вас прошу, – обратился он к Полякову, – еще раз мне сегодня перевяжите получше. А потом уж я сам повязку сниму в Воеводском углу. Когда все заживет окончательно…

– Нет, в Воеводский угол ты не поедешь. – Начальник стал отмыкать ящик письменного стола. – Ни сегодня, ни завтра не поедешь. Воронцова мы будем ловить уж своими силами. Без тебя. – И, отомкнув ящик, протянул Веньке вчетверо сложенную бумагу.

Это был приказ откомандировать Вениамина Степановича Малышева в распоряжение губернского уголовного розыска.

– Могу тебя только поздравить, – протянул Веньке руку начальник. Ничего поделать не могу. Могу только поздравить.

– Все это ерунда! – положил на стол бумагу Венька. – И потом, я хотел

спросить: почему это именно меня откомандировать? В честь чего?

– Я так понимаю, – сказал начальник, – что в связи с ликвидацией банды Клочкова. Это надо понимать как выдвижение молодых кадров на руководящую работу в губернский центр…

– А я при чем? – опять спросил Венька. – Если уж выдвигать, так не меня, а Соловьева Колю. Ведь Клочкова же он убил…

– Ничего не знаю, ничего не знаю! – засмеялся начальник. – Руководящим товарищам виднее, кто кого убил. И кроме того, очень важно, какое освещение дает событиям пресса…

Тут, наверно, мы все в одно время вспомнили эту фразу из очерка Якова Узелкова о юноше-комсомольце с пылающим взором, который совершал буквально чудеса храбрости.

– Значит, даже в губрозыске верят брехунам, – сказал Венька. – Но я все равно должен сейчас поехать в Воеводский угол.

– Когда плечо окончательно заживет, тогда посмотрим, – спрятал бумагу опять в ящик письменного стола начальник и сделал строгое лицо.

Венька застегнул все пуговицы на рубашке, поправил поясной ремень и вытянулся, как на смотру.

– Я уже и так вполне здоров. Чего еще надо? Глядите, как я нажимаю плечо. И ничего…

– Медицина, видишь, другого мнения.

– А ну ее, медицину! – вдруг вспыхнул Венька. И кроме Веньки, никто бы так не посмел вспылить в присутствии нашего начальника. – Мне работать надо, а тут какая-то ерунда с медициной…

Начальник, однако, не одернул Веньку. Промолчал. И можно было так понять, что он согласен с Венькой.

Поляков, уже не прекословя, повел Веньку на перевязку к себе в амбулаторию. И, как бы извиняясь перед Поляковым за свой внезапный выпад против медицины в кабинете начальника, Венька говорил по дороге на перевязку:

– Это если б зимой – пожалуйста. Я бы с удовольствием, Роман Федорович, еще полечился… Худо ли отдохнуть, почитать, разные байки послушать. А сейчас – вы же сами понимаете – лечиться некогда. Такая горячка начинается. Одним словом – весна. И скоро – лето…

Мы шли с Венькой домой, на нашу улицу Пламя революции, мимо городского сада, мимо пахучего кустарника, уже нависшего курчавыми вершинами над решетчатым деревянным забором.

Я предложил:

– Может, зайдем к Долгушину? Он вчера переехал в сад. И медведя

своего перевез…

– Ну и пес с ним!

– Нет, правда, может, зайдем? По случаю твоего выздоровления. У Долгушина выступает какой-то новый куплетист. Из Красноярска.

– Ну и пусть выступает! А я поеду в Воеводский угол. Некогда мне. В другое время куплетиста послушаем…

15

Мне тоже хотелось поехать в Воеводский угол, но начальник меня не пустил.

Венька уехал один. И на работе я как-то не замечал его отсутствия. А в свободные часы мне вдруг становилось скучно. В больницу теперь не надо было ходить. И к Долгушину идти одному казалось почему-то неудобным.

Перед вечером однажды я зашел в библиотеку. Катя Петухова собиралась домой. Она уже сняла свой серенький халатик и мыла руки под дребезжащим умывальником.

– Закрыто, – сказала она мне довольно нелюбезно. – Разве не видно, на дверях написано: до семи тридцати.

– Ничего, – сказал я, – я только книжки посмотрю.

– Завтра посмотришь…

– Завтра я, может, уеду. Я хотел сегодня тут кое-что посмотреть.

– Ну, посмотри, – согласилась она.

Я смотрел книжки, пока она вытирала полотенцем руки, потом надевала синюю жакетку. Наконец она загремела ключами и стала у открытой двери, нетерпеливо ожидая, когда я уйду.

Мы вышли вместе, молча прошли весь переулок, а у ворот городского сада я сам неожиданно для себя предложил ей:

– Зайдем в сад?

– Это зачем же?

– Просто погуляем, пройдемся. А что особенного?

– Ничего особенного, – сказала Катя. – Но я еще не обедала…

– Здесь и пообедаем. У Долгушина.

Катя вдруг обиделась, покраснела, и на белобровом ее личике как-то смешно вздернулся веснушчатый носик.

– Ты меня за кого принимаешь?

Я засмеялся.

– Я тебя принимаю за девушку, за комсомолку, за хорошего товарища…

– Нет, ты что-то задумал. Я в жизни никогда не бывала в ресторанах. Я считаю, что комсомольцы не должны…

– Комсомольцы должны все испытать, – авторитетно сказал я. – Ты что, считаешь, что в рестораны ходят только одни нэпманы и всякая мразь?

– О, ты, я смотрю, оригинальный человек! – улыбнулась Катя.

Я не знал, хорошо ли это – быть оригинальным человеком. Я понимал только, что Катя относится ко мне снисходительно, смотрит на меня свысока, как бы с высоты тех книг, которые она прочла в этой обширной библиотеке.

Однако она все-таки пошла со мной в сад, а потом и в ресторан Долгушина – в этот дощатый, застекленный павильон, наскоро выстроенный среди густого кустарника.

Всего больше ее заинтересовал начучеленный медведь, поставленный здесь, как и в зимнем ресторане, у входа. В вытянутых лапах он держал керосиновую лампу-«молнию». Катя с некоторой робостью, но внимательно осмотрела его. Потом заинтересовалась посетителями.

Катя была первой девушкой, которую я решился пригласить в ресторан.

Я даже не знаю, как это я вдруг решился. Но в ресторане я вел себя уверенно, вслух читал меню и советовал, что лучше выбрать из многочисленных блюд с замысловатыми иностранными названиями: «шнельклепс», «бефбули», «эскалоп», «ромштекс». Все почти одно и то же, но названия разные.

– И ты часто бываешь здесь? – спросила Катя.

– Часто, – соврал я.

Мне почему-то хотелось, чтобы Катя считала меня развязным, бывалым, даже испорченным. Пусть она, такая правильная, начитанная, благонамеренная, как сказали бы в старину, пусть она даже чуть ужасается, наблюдая за моим поведением. Пусть она думает, что я гуляка, прожигатель жизни. Пусть она критикует меня. Но Катя не критиковала. Она только приглядывалась ко мне, и в глазах ее, умных и немножко лукавых, я читал удивление, граничащее с испугом.

Мне нравилось это.

Мы поели. Она заспорила со мной, желая уплатить за свой обед. Но я сказал, что это мещанство, и она успокоилась.

Мещанство – это было такое слово, которое пугало многих в ту пору. И им, этим словом, обозначались иногда понятия, ничего общего не имевшие с подлинным мещанством.

Я проводил Катю домой, не решаясь, однако, взять ее под руку.

И с этого вечера мы стали встречаться с ней почти каждый раз, когда я бывал свободен от работы по вечерам.

А Венька все еще не приезжал.

Я приглашал Катю зайти ко мне, посмотреть, как я живу. Но Катя уклонялась от этого приглашения.

– Лучше ты ко мне зайди в воскресенье, если хочешь. Я познакомлю тебя с мамой.

Но я тоже не решался зайти к ней домой. Знакомство с ее мамой мне представлялось мещанством.

Мне приятно было, что Катя такая рассудительная и образованная. Конечно, она не такая красивая, как Юлька Мальцева. Даже совсем не красивая, но очень симпатичная и какая-То душевная.

Она расспрашивала меня о моих делах – не о конкретных уголовных делах, которыми я занимался ежедневно, а о том, что я думаю, что я собираюсь делать дальше.

– Не всегда же, не всю жизнь, ты будешь работать в уголовном розыске. Или ты хочешь остаться навсегда?

– Зачем навсегда? Может, я себе еще какое-нибудь дело подберу. Мне хочется разное попробовать. Я даже так думал: если меня серьезно ранят, я пойду работать куда-нибудь, допустим, в библиотеку, или постараюсь устроиться в собственные корреспонденты, вот как Яков Узелков…

– Тоже нашел кому завидовать! – сказала Катя. – Узелков же совершенно некультурный. Я его видеть не могу…

Меня удивило это.

Оказывается, Узелков читает много, но чаще всего берет, по мнению Кати, легкомысленные книжки. А когда ему надо писать серьезную статью и требуется подходящая цитата, он прибегает в библиотеку и перелистывает энциклопедию Брокгауза и Ефрона.

– В энциклопедии все есть, – говорила Катя. – В ней и химия, и физика, и что угодно. Весь университет. А дома у него, я видела, всего три книжки – «Купальщица Иветта», «Огонь любви» и «Тайна одной иностранки». Дает всем читать…

– А ты у него была дома?

– Была. Наверное, раз десять была. Он же крайне неаккуратный человек…

– Ты, значит, только к неаккуратным ходишь домой?

– Конечно. Он целый месяц держал два тома энциклопедии. Он без нее ни одного дня не может прожить…

Я удивился еще больше. Я и подозревать не мог, что на свете есть такой кратчайший путь к образованию, как энциклопедия.

Чтобы поддержать разговор, я сказал после раздумья:

– Да, он, в сущности, мелкий человек, Узелков.

– Ну, вы с Малышевым тоже не такие уж глубокие, – сказала Катя. Начитались разных книг без толку, без всякой системы, и думаете, что вы

теперь образованные. У вас ведь в голове полный сумбур…

– Сумбур, – согласился я.

Я не мог не соглашаться с Катей. Она все больше вырастала в моих глазах.

Я старался теперь каждый вечер встречаться с ней, но это не всегда удавалось: то она занята, то я.

Один раз я пошел без нее в городской сад. Она пойти не могла: в библиотеке был переучет книг.

Я один бродил по темным аллеям, где сидят, прижавшись друг к другу, влюбленные парочки. Мне было завидно.

С Катей я еще никогда не сидел так, потому что побаивался ее.

Я бродил по темным аллеям и думал о Кате. Я думал о ней еще лучше, чем в те часы, когда она была со мной.

Вдруг в боковой аллее послышался девичий смех, и через секунду в сопровождении двух девушек вышел на «пятачок» между аллеями Васька Царицын.

Я не успел поздороваться с ним, как он схватил меня за руку и положил в мою руку теплую ладонь девушки.

– Знакомьтесь, – сказал Васька.

И вторая девушка тоже протянула мне ладонь. Я узнал Юлю Мальцеву. Она не только крепко пожала мою руку, но и весело встряхнула ее, как будто мы давно уже были друзьями.

Я, конечно, смутился, но смущение мое сейчас же прошло, и я посмотрел ей в глаза. Глаза у нее мягко светились. Она улыбалась.

Васька Царицын взял первую девушку под руку и направился в сторону танцевальной площадки. А я и Юля пошли позади.

Юля взяла меня под руку и спросила:

– Почему ты такой скучный?

Она говорила мне «ты». И это не удивительно: она комсомолка, и я комсомолец. Но вопрос ее удивил меня. Вернее, голос. В голосе ее как будто прозвучала обида.

– Просто так, – сказал я. – Немножко было скучно.

– Потому что Катя Петухова не пришла? – спросила Юля. И, улыбаясь, заглянула мне в глаза.

«Значит, она и раньше интересовалась мной, если знала про Катю».

– Нет, – сказал я. – Просто так.

– А со мной тебе не скучно?

– Нет. Не скучно.

Юля смеялась про себя. Я чувствовал это, хотя лица ее не видел,

смотрел под ноги. И сердце у меня вдруг заныло.

Духовой оркестр заиграл тустеп. Мы вышли на ярко освещенную площадку сада, где в деревянной раковине сидели со сверкающими трубами музыканты из пожарной команды. Перед нами на подмостках изгибались в танце пары.

Из щелей подмостков, из-под каблуков танцующих вырывались тоненькие струйки пыли. Я смотрел на эти струйки и не видел ни танцующих, ни музыкантов. И Юлю не видел, хотя локтем чувствовал ее мягкий, теплый, горячий бок.

Я снова испытывал смущение и не решался посмотреть на нее.

Васька Царицын, как нарочно, ушел куда-то со своей девушкой.

– Ты любишь танцы? – спросила Юля.

– Нет, – сказал я.

– Я знаю, что не любишь, – засмеялась она, хотя ничего смешного в том, что я не люблю танцы, не было. – Пойдем тогда на берег.

И мы снова вернулись в темную аллею, чтобы пройти к реке.

Юлька молчала и прижималась ко мне. Прижималась потому, что около реки становилось прохладно, а девушка была в легком платье.

Я снял свой френч и накинул ей на плечи.

Это был самый решительный жест, на который я был способен в ту минуту. А вообще я чувствовал себя совершенно беззащитным с ней.

У реки мы сели на рогатую, давно уже вытащенную из реки и просохшую корягу.

За рекой, в темноте, вдалеке, как всегда, вспыхивали и гасли огоньки.

Они гасли и вспыхивали до меня, до дня моего рождения, и, наверно, так же будут вспыхивать и гаснуть после того, как я уйду отсюда, постарею, умру или когда меня убьют.

Я никогда раньше, если не считать самого раннего детства, не думал о смерти, не вспоминал о ней.

Неожиданно эти скучные мысли пришли ко мне почему-то именно сейчас, когда я сидел рядом с Юлькой. Она все перевернула во мне. Я даже на мгновение забыл, что сижу рядом с ней.

Вдруг недалеко от нас тонко свистнул пароход. Маленький, светящийся на темной воде множеством разноцветных огней, он, сопя и вздрагивая, пришвартовывался к пристани.

Взглянув на него, я почувствовал, что у реки не только прохладно, но даже холодно.

Запахло черемухой и гарью. И гарью запахло, конечно, сильнее, чем черемухой. Должно быть, где-то недалеко, на той стороне реки, горела

тайга.

Юлька сняла с себя мой френч и, держа его в вытянутых руках, сказала:

– Тебе ведь тоже холодно. Хочешь, укроемся вместе?

Я не мог сопротивляться. Она укрыла меня и себя, и мы сидели теперь очень близко друг к другу. Я слышал, как дышит она.

– А Малышев Венька сейчас, может быть, на происшествие поехал.

Я не сказал это, а как бы подумал вслух. Ведь, в самом деле, Венька бродит где-то в Воеводском углу, вон там, на той стороне реки, откуда несет гарью.

Юлька, однако, не проявила интереса к имени моего товарища, сказала только:

– Ну, какие сейчас происшествия!

Я стал говорить, что как раз вот в это время, в эти минуты, происшествий бывает очень много: вон кто-то тайгу зажег, может быть, нечаянно – охотники, а может быть, нарочно – бандиты. Меня тоже во всякий час могут вызвать прямо с гулянья на работу. Много раз уже так случалось.

Говорить о работе мне было легче, чем о других вещах. И я говорил. И чувствовал, что странная робость моя постепенно проходит. Снова вспомнив о Веньке, я сказал:

– Он ни за что не поверил бы, что я вот так сижу с тобой.

Но самого меня уже нисколько не удивляло в эту минуту, что девушка, о которой мы так много думали, сидит рядом, очень близко от меня, как я не сидел даже с Катей Петуховой.

Я уже начинал потихоньку смелеть. Я ведь и раньше не был робким парнем. Робость моя – явление совершенно случайное, может быть, даже болезненное, как шок.

И вот я начал оправляться от шока и смелеть больше, чем надо. До глупости начал смелеть. И, конечно, по глупости я сказал:

– Венька бы волосы рвал на себе, если б узнал, что я с тобой…

– Почему? – вдруг порывисто спросила Юлька, и мой френч упал с наших плеч.

– А так, – сказал я, снова накидывая френч на Юлькины и свои плечи. – Он ведь в тебя страшно влюблен.

Юлька слегка потянула к себе правый борт френча и снова прижалась ко мне.

Я заметил, что слова мои наконец заинтересовали ее. И мне захотелось рассказать ей по-свойски, как мы покупали у нее спички, как не спали по

ночам, думая о ней.

Не понимаю до сих пор, почему я вдруг расчувствовался так и повторил:

– Он страшно в тебя влюблен.

– А ты?

– Что я?

– А ты влюблен в меня? – горячим шепотом спросила Юлька. И заглянула мне в глаза, как цыганка.

Вот тут я действительно замялся, говоря:

– Как тебе сказать…

– Ну, раз не знаешь, как сказать, лучше не говори, – попросила Юлька и положила свою маленькую теплую ладонь на запястье моей руки. – Ты лучше что-нибудь еще расскажи о своей работе…

Я не знал, что ей можно рассказать, что ее может заинтересовать. И мне совсем не хотелось рассказывать. Не хотелось окончательно обрывать ту трепетную связь, что возникла между нами, когда она спросила, не влюблен ли я в нее. И зачем я произнес эти глупые слова: «Как тебе сказать»?

Эти слова охладили ее. Это я заметил. Но я не знал, как поправить дело, как вернуть ее прежнее настроение. И в то же время я чувствовал, что все равно не смог бы иначе ответить на ее вопрос.

– Это, видишь ли, не такая простая вещь, – сказал я.

– Что не простая вещь?

– Ну, вообще все.

– Ты странный, – еще теснее прижалась она ко мне. – Ты странный, очень странный. Ты о чем-то думаешь и не решаешься сказать. Ты скажи…

– Я ни о чем не думаю…

– Совсем, совсем ни о чем?

– Ни о чем.

– Странно, – улыбнулась она. – А я всегда о чем-нибудь думаю…

– Тогда лучше ты скажи: о чем ты сама сейчас думаешь?

– Пожалуйста, – засмеялась она. – Я думаю о том, что ты думаешь сейчас обо мне: «Вот какая нахальная девушка, первый раз меня встретила и уже уселась рядом под одним френчем, как влюбленная, и расспрашивает, влюблен ли я в нее». Ну, скажи откровенно: ведь правда ты так думаешь?

– Нет, нисколько, – запротестовал я. – Мне это и в голову не приходило…

– А я не первый раз тебя встретила, – как бы оправдывалась она. – Я еще зимой хотела познакомиться с вами – с тобой и с Малышевым. Я

всегда любила дружить больше с ребятами, чем с девушками. Но вы почему-то нигде не бываете. У вас много работы?

– Много.

– Зато у вас, наверно, интересная работа. Ну, расскажи еще что-нибудь.

– Просто нечего рассказывать.

– Ну, расскажи что-нибудь, – опять положила она свою маленькую, чуть похолодевшую ладонь на мое запястье и требовательно сжала его, будто пробуя пульс. – Это правда, что Малышев самый храбрый у вас?

– Как тебе сказать… – снова помимо воли своей повторил я эту глупую фразу. – Вообще-то у нас не держат трусов. Если человек – трус, ему у нас делать нечего.

– Но, говорят, Малышев самый храбрый…

– Кто это говорит?

– Многие говорят, – уклонилась она от прямого ответа и поправила что-то у себя на груди. – И я сама думаю: такой человек должен быть очень храбрым. Мне понравилось, как он выступал тогда на собрании, когда разбирали дело, кажется, Егорова. Насколько он выше всех этих… ораторов. Я даже видела его в ту ночь во сне.

«И он тебя видел в ту ночь во сне, даже в бреду тебя вспоминал», хотел я сказать ей, но не сказал. И хорошо, что не сказал.

У меня и так было смутное чувство, будто я много лишнего уже наболтал. И она еще что-то выпытывает у меня, выпытывает ласково, но настойчиво.

Мне теперь совсем непонятно было, зачем она спрашивала, влюблен ли я в нее, если ясно, что ей интересен не я, а Венька. Она уже знает о его ранении, об операции в Золотой Пади.

Об этом она, наверное, прочитала в очерке Узелкова.

– А Узелкова что-то не видать сегодня, – проговорил я после долгого молчания. – Он, говорят, ухаживает за тобой…

– Не знаю, – грустно откликнулась Юлька и поднялась с коряги, поправляя ленивым движением пышные свои волосы.

Я проводил ее до дома на Кузнечной, шесть, и ушел поздно ночью к себе домой, взволнованный сложным чувством, в котором были и смятение, и досада, и больше всего запомнилась тоска.

Юлька Мальцева, красивая, неожиданная, во всем неожиданная, недолго посидев со мной на берегу, надолго расстроила меня. Она как будто одно мгновение подержала в руках мое сердце и отпустила его.

После того вечера мне не так уж интересно было встречаться с Катей. Хотя и в Юльку я, кажется, не был влюблен.

Вернее, не был влюблен так неотвратимо, так тревожно и горестно, как Венька.

16

Венька вернулся из Воеводского угла пропыленный, исхудавший, но веселый.

Никаких подробностей о своих делах он не рассказывал, сказал только, что есть возможность заарканить Костю Воронцова и что дураки мы будем, если в ближайшее же время не возьмем «императора всея тайги» живьем, как полагается, при всех его холуях.

Мне подумалось, что Венька на этот раз преувеличивает наши возможности.

Начальник еще вчера, до приезда Веньки, предупреждал нас на секретно-оперативном совещании, что ни в коем случае нельзя, как он сказал, недоучитывать всей серьезности обстановки, в которой мы сейчас находимся.

Эти весна и лето будут наиболее трудными для нас, так как бандитов за истекшую зиму, по некоторым агентурным сведениям, не только не убавилось, но даже стало значительно больше, в частности в Воеводском углу.

Воронцов все еще пользуется поддержкой со стороны богатых мужиков таежных деревень. Не считаться с этим нельзя, сказал начальник и показал нам напечатанные на пишущей машинке листовки, собранные в некоторых деревнях, где их распространяли связчики Воронцова.

В этих листовках восхвалялся ультиматум лорда Керзона, присланный недавно нашему правительству, и говорилось, что большевикам скоро конец.

В двух больших селах, в Китаеве и Жогове, в церквах, как утверждают священники, чудесным образом за одну ночь обновились иконы божьей матери, засияли ослепительным светом серебряные ризы. И это, по словам все тех же священников, есть знамение господне, указывающее на скорую перемену власти.

– …Мы не можем вести себя так, как будто мы одним махом всех побивахом, – сказал начальник на этом секретном совещании. – Я имею особые указания: не зарываться. Поэтому мы должны сейчас учитывать всю обстановку, связывать все факты – и, значит, что? Значит, ни в коем случае не зарываться, не зазнаваться и не думать, что мы вот так сразу уничтожим, например, Воронцова и его банду. Это не так просто…

Я вспомнил эти слова начальника и подумал, что он будет недоволен

настроением Веньки.

Я пересказал все, что было на секретном совещании. Но Венька ничему не удивлялся и только сказал, засмеявшись:

– Я лорда Керзона ловить пока не собираюсь. А Костю Воронцова мы поймаем. Дураками будем, если не поймаем. Тогда уж, правда, мужикам лучше вместо нас дрова возить.

Очень сильно ему, должно быть, запали в голову те слова старика возницы, который вез нас еще в конце зимы из Воеводского угла.

Начальник, однако, встретил Веньку ласково, долго разговаривал с ним наедине, и после разговора этого выяснилось, что через день Венька опять уезжает в Воеводский угол.

– А сегодня ты отдохни, выспись как следует, – советовал начальник, провожая Веньку из своего кабинета по коридору, как будто Венька был не сотрудник, а гость. – Главное, выспись. Завтра подготовишься, а послезавтра поедешь. Вот так будет правильно, если это действительно реально. Но я пока что не очень-то верю…

Венька увидел меня в коридоре и подмигнул: гляди, мол, как ласкает меня начальник. Однако спать Венька не пошел, несмотря на повторный совет начальника, хотя был уже вечер.

– Пойдем к Долгушину?

– Пойдем.

По дороге в городской сад мы встретили Узелкова. Он поинтересовался, где был Венька, почему его так давно не было видно, и спрашивал, что слышно в преступном мире. Он так всегда и говорил: «преступный мир». Венька сказал, что пока ничего не слышно, ничего не знаем.

– Опять секрет полишинеля? – засмеялся Узелков.

Я спросил:

– Полишинель – это тоже из энциклопедии?

– Из энциклопедии? При чем тут энциклопедия?

– Говорят, – засмеялся я, – что ты ее всю замусолил в библиотеке. Собираются на тебя в суд подавать.

Я, конечно, хотел уколоть Узелкова. Однако я никогда не думал, что он способен так смутиться.

Но я не пожалел его и еще сказал:

– Знаем, знаем, откуда все твои слова! А мы-то думали, ты университет кончил.

Узелков стоял перед нами растерянный. Он старался смотреть на нас вызывающе, но это у него сейчас не получалось.

Мне даже стало жалко его.

– Ну ладно, не обижайся. Мало ли что бывает. Пойдем, если хочешь, с нами к Долгушину.

– Нет уж… – вздохнул Узелков. – Спасибо. – И ему удалось все-таки изобразить улыбку. – Я лучше энциклопедию пойду читать.

И он прошел мимо. А мы вошли в долгушинский павильон.

Мы просидели там не меньше часа, ели котлеты, пили пиво и разговаривали обо всем. Нет, пожалуй, не обо всем.

Венька рассказывал, каких щук сейчас вылавливают в Пузыревом озере, в котором он сам два раза искупался, хотя вода еще очень холодная. Но жители купаются. И Венька искупался.

Можно было подумать, что он только для этого и ездил в Воеводский угол, чтобы посмотреть на этих щук и искупаться в Пузыревом озере.

О бандитах он на этот раз ни слова не сказал, как будто и не думал о них. И я ни о чем не расспрашивал. Если надо, он сам расскажет. Не надо значит, нечего и расспрашивать. Есть секреты, которые не принадлежат лично нам, хотя мы и знаем о них.

Я не обижался на Веньку за то, что он не рассказывает мне в подробностях о своих делах в Воеводском углу.

Поужинав, мы вышли из павильона и сразу же напротив, около тележки мороженщика, увидели Ваську Царицына. Он облизывал зажатый в круглых вафлях малиновый кружок и морщился от холода на зубах.

– А Юлька только сейчас меня спрашивала, почему вас не видно, – сообщил он. И заулыбался: – Юлька на берег пошла. Вы ее еще догоните…

– Зачем нам догонять, – сказал я независимо.

Но когда Васька, поговорив с нами и доев мороженое, направился к киоску пить воду, мы, не уславливаясь, пошли на берег.

На том самом месте, на рогатой коряге, где я однажды сидел с Юлькой, сейчас сидели две девушки. Длинная заросшая аллея кончалась как раз у этого места. Мы подошли к коряге. И девушки разом вздрогнули и обернулись.

Я поздоровался с ними и потом, точно так, как Васька Царицын меня, взял Веньку за руку и познакомил сразу с Юлей и Катей.

Катя сказала, показывая глазами на Веньку:

– Я с ним уже знакома. Я с ним в комиссии была, кожзавод проверяли. Помнишь?

– Помню, – кивнул Венька.

Потом, как водится, я с Катей пошел вперед, а Венька с Юлей за нами. И я нарочно сделал так, чтобы мы потерялись.

Венька нашел меня только дома. Он вернулся домой как будто чем-то расстроенный. Я подумал, что он разочаровался в Юле или понял так же, как я, что девушка эта совсем не такая, как казалась. Но Венька, снимая через голову рубашку, вдруг сказал мрачно:

– Честное слово, я женился бы на ней. Если б она согласилась, я бы женился. Вот так сразу, не раздумывая…

– Женись, – улыбнулся я, почти не удивившись его словам. И еще добавил зачем-то: – По-моему, она тебя любит.

На это Венька ничего не ответил. Аккуратно сложил около кровати на стуле одежду и молча лег в постель. Мне тоже не хотелось разговаривать. После этой встречи с Катей настроение у меня было неважное.

Перед Катей я чувствовал себя виноватым. Надо было или сказать ей, что я сидел тогда с Юлькой под френчем, или не говорить, забыть это. Я не знал, что Катя давно знакома с Юлькой. Они, кажется, подруги…

И Веньке тоже всего не сказал. Надо, подумал я, сказать прежде всего Веньке о том, как я один вечер ухаживал за Юлькой. Обязательно надо сказать. А то какие же мы товарищи?

Но Венька, должно быть, спал. Я сидел за столом. Потом тихонько отодвинул стул, встал и на цыпочках прошел к своей кровати.

Я уже разделся и лег, собираясь погасить лампу, и в последний раз посмотрел на Веньку. Глаза у него были открыты, и он смотрел на меня. Я даже вздрогнул. Но он, не обратив на это внимания, сказал:

– Все-таки я ее не стою, – и приподнялся на подушке.

– Почему это? – спросил я.

– Потому… – вздохнул Венька. – Она какая-то нежная. Прямо как девочка. А у меня все-таки были обстоятельства…

– Какие?

– Ну, помнишь, я тебе рассказывал…

– Чего рассказывал?

– Неужели не помнишь?

– Не помню.

– Ну, как я встретил одну женщину и потом захворал. Когда мне не было еще семнадцати лет…

– Но ты же вылечился, – сказал я.

– Ну что из того, что вылечился? Все-таки было. Как ты считаешь, надо это Юльке сказать?

– Вот уж не знаю, – затруднился я. – Как-то неловко про такое говорить…

– В этом все дело, что неловко, – согласился Венька.

– А зачем говорить?

– Ну как же не говорить, если она сама такая откровенная и вдруг выйдет за меня замуж? Если, конечно, решится выйти…

– Вот когда выйдет, тогда и скажешь.

– Нет, это получится, что я ее обманывал. А тут надо делать все начистоту. Это же будет у нас семейная жизнь. Для чего же все начинать с обмана?!

Венька посмотрел на меня внимательно, как смотрят на человека, желая прочитать его мысли, и спросил:

– Ты как считаешь, я правильно думаю?

– Вообще-то правильно, – уклончиво ответил я.

– А конкретно?

– А конкретно я еще не знаю, как тут считать…

– Крутишь ты чего-то! – упрекнул меня Венька. – А я считаю, что в семейной жизни не должно быть никаких секретов. На службе – вот, скажем, как нам сейчас приходится на оперативной работе – это одно, а в семейной жизни все должно быть в открытую. Иначе, какая же это семейная жизнь!

– Отчасти это правильно, – согласился я. – Но как-то неудобно говорить девушке…

– В этом все дело, – опять сказал Венька.

Он снова лег на подушку и задумался. И я задумался. Как быть? Сейчас сказать ему про тот вечер с Юлькой или потом? Ну хорошо, я скажу сейчас, он расстроится. А если сказать после? А если совсем не говорить? Ведь ничего особенного не было. Просто сидели рядом. Я уж сказал ему, что мы сидели рядом. Про френч только не сказал. Ну, скажу про френч, что сидел под френчем…

Но Венька первым нарушил тишину.

– Ты знаешь, – сказал он и повернулся лицом ко мне. – Вот я всегда думаю. Дай мне три месяца свободных. Совсем, совсем свободных. Чтобы никакой заботы, ни воров, ни бандитов. И я буду думать про свою жизнь. Как я жил, как мне жить дальше. Я все ошибки свои вспомню, где когда промазал, не догадался, не сообразил. Все начну по-новому. Чтобы ни одной ошибки. Вот тогда другое дело. А то знаешь, как может получиться? Будет полный коммунизм. Будут новые люди, которые еще с пионеров начали. И не только самогонку не пили, но даже красное вино не пробовали. И они нам скажут…

Но что они нам скажут, Венька, должно быть, еще не знал. Он

замолчал неожиданно, впрочем, как часто делал, оборвав себя вдруг на полуслове, и отвернулся к стене.

Он долго лежал так, отвернувшись. Потом снова окликнул меня:

– А ты знаешь, я ей все равно не смогу сказать про это. Мне стыдно…

– Действительно, – проговорил я спросонья.

И в эту минуту впервые мне представилась нелепой вся эта история. Венька ведь сегодня только познакомился с девушкой и уже собирается жениться и рассказать ей такой секрет.

«Хотя, – сию же минуту подумал я, – ничего, пожалуй, удивительного: он давно ее любит, и она, наверно, тоже. Уж если он решил жениться – значит, это серьезно, прочно, окончательно».

Весь следующий день Венька был занят своими делами. Мы почти не виделись.

Вечером, когда я пришел домой, он уже спал. А на рассвете за ним заехал кучер нашего начальника и увез его в Воеводский угол. Из Воеводского угла он приезжал теперь ненадолго – на сутки, не больше – и уезжал обратно.

И все-таки за это краткое пребывание в Дударях он успевал встречаться с Юлькой.

Домой после этих встреч он возвращался невеселый, задумчивый и, немножко поговорив со мной о каких-нибудь пустяках, ложился спать, потому что утром ему надо было снова ехать в тайгу.

О своих делах в Воеводском углу он по-прежнему почти ничего не рассказывал. Но однажды вечером, когда мы дома пили чай, он вдруг ни с того ни с сего засмеялся.

Я удивленно взглянул на него.

– Очень смешно, – сказал он, – Лазарь Баукин такой зверюга, как ты говоришь, а жена его ухватом прямо по башке! Он мне сам жаловался. «И ничего, говорит, поделать не могу. Выгоняет из избы…»

– Все-таки мне непонятно, – сказал я, – почему ты ухватился за этого Лазаря? Ведь ты сразу за него ухватился еще тогда, зимой. Помнишь, как это было?

– Помню.

– И вот я не понимаю: почему ты тогда за него ухватился?

– Я сам не понимаю, – опять засмеялся Венька. – Но ты подожди, подожди. Ты еще посмотришь, как все получится. Хотя, конечно, Лазарь – это не ангел.

– Не только не ангел, но злейший бандит, мы с тобой таких, наверно, не один десяток встречали. Но ты почему-то за него именно ухватился…

Венька задумался, но ненадолго. Потом сказал:

– Это, понимаешь, не всегда можно все в точности объяснить – что, зачем и почему. Но раз я ухватился, я должен доколотить это дело до конца.

Все силы свои он, казалось, сосредоточил теперь на одном – на будущей поимке Кости Воронцова.

Он даже все личные планы строил теперь с таким расчетом: «Вот поймаем Костю, и я осенью обязательно поступлю на рабфак. И ты поступай тогда. Что мы, хуже всех, что ли?» «Вот заарканим „императора“, и я сразу договорюсь с Юлькой. Не могу я это дело тянуть!»

И не только свои личные планы он связывал с поимкой Кости Воронцова: «Вообще все здорово будет, когда мы его поймаем. Всех остальных бандюг мы тогда свободно переловим и переколотим. Костя у них сейчас вроде как знамя. И до чего сильно его боятся везде! Даже председатели сельсоветов боятся. Это уж просто срам. Называются представители Советской власти – и боятся какого-то бандита! От одного его имени дрожат. Это мы виноваты, что так долго вокруг него крутимся. Если б мы работали как следует, мы бы его еще прошлой осенью взяли. Мы за это в первую голову отвечаем!»

17

Наконец однажды, в середине дня, Венька вернулся из Воеводского угла и сказал мне:

– Ну, кажется, начинаем делать дело. Сейчас доложил начальнику всю картину. Завтра вместе с ним едем брать «императора».

– А я?

– Что ты?

– А я опять тут буду сидеть?

– Нет, и ты поедешь. Начальник сам сказал, чтобы и ты поехал. И Колю Соловьева возьмем. Только этот припадочный Иосиф Голубчик не поедет. Я попросил, чтобы он не ездил. Тут дело тонкое, хитрое. Тут героизм не требуется…

Мы пошли с Венькой на реку купаться. Он разделся на плотах и показал мне плечо.

– Ты смотри, как здорово зажило! А ты знаешь от чего? От брусничного листа. Мне Лазарь прикладывал брусничный лист. Его знахарка научила в Воеводском углу. Мировая медицина!..

– А ты Лазаря, значит, часто видишь?

– Конечно. Мы вчера с ним рыбу ловили на Черном омуте. Он здорово жарит рыбу на рожне. Вот так возьмет рыбину, распорет, выпотрошит, чуть присолит и растянет на рогатке. Над костром. Обожраться можно, до чего вкусно! А икру из рыбины надо сразу есть. Лучше всего с хлебом…

Если б я не знал, кто такой Лазарь Баукин, я подумал бы, что Венька рассказывает про своего закадычного дружка. Но я не мог забыть, что Баукин – преступник с большим и тяжелым грузом преступлений, за которые он должен ответить по закону. Ведь он не просто удит рыбу в Черном омуте или в Пузыревом озере, он скрывается от заслуженного наказания. Ведь мы не отпустили его из уголовного розыска, а он убежал. И еще увел с собой двух преступников.

Об этих его соучастниках в побеге Венька почему-то никогда не упоминал в разговоре со мной и не вспоминал о тех, что остались тогда и были осуждены на разные сроки.

Венька говорил только о Лазаре. Конечно, он хотел использовать его для поимки Кости Воронцова. Венька, наверно, сразу после поимки Лазаря учуял, что его можно использовать. Это понятно. И в этом нет ничего удивительного. Для поимки Воронцова стоило использовать любые

средства. Но мне все-таки не ясно было, почему вдруг Венька так душевно прикипел к Баукину. Хоть убей, я не видел в Баукине ничего замечательного, кроме разве его особой звероватости и исступленной злобы, все время вскипавшей в его небольших медвежьих глазах.

– Ты не сердись, Венька, – сказал я, – но не лежит у меня душа к этому Баукину. Он мне даже противен как-то.

– А ты знаешь почему?

– Не знаю, но он мне противен.

– Это вот почему, – сказал Венька и, присев на край плота, спустил ноги в воду. – Он тебя тогда, в дежурке, когда его забрали, как-то, я сейчас не помню, обозвал. И начальника он обозвал боровом. Начальник ему это тоже не простит…

– Но тебя он даже ранил, – напомнил я. – А ты все-таки как… Ты не сердись, но ты почему-то, ей-богу, вроде как монашек повел себя: я, мол, зла не помню. А мне это просто удивительно и даже противно!

– Что противно?

– Ну, что это получается как-то неестественно. Будто ты правда монашек. Ты же живой, и, я знаю, ты бываешь сердитый. А с этим Лазарем ты повел себя как-то странно. Если б он, допустим, ранил меня, я бы ему это не забыл.

– А что бы ты ему сделал?

– Я не знаю, но я бы ему не забыл…

– Ерунду ты говоришь. – Венька вытащил ноги из воды и пошел, балансируя руками, по осклизлому вертящемуся бревну. – Ничего бы ты ему не сделал. И потом, кто это тебе сказал, что он меня ранил?

– Но он же сам признался, – напомнил я. – Даже хвастался…

– Вот это правильно, – остановился Венька и перепрыгнул на толстое, более устойчивое бревно. – Вот это правильно, что он хвастался. А кто может поручиться, что именно он в меня попал? Он только шапку мою запомнил. А стрелял он не один. Все стреляли. А когда в дежурке ты его допрашивал, ему хотелось показать, что он нас не боится. Ему же сколько лет морочили голову разные офицерики, что комиссары – это звери! И он уверен был, что мы его сразу стукнем. Терять ему было нечего. И он хотел хоть перед смертью еще раз показать себя героем. А мы ему этого не дали. Не доставили ему такого удовольствия. Он к нам со злобой, а мы к нему по-человечески. И он враз растерялся от неожиданности. А когда он растерялся, тут я стал его разглядывать, как голого. И гляжу, он мужик толковый, но запутавшийся. «Погоди, думаю, мы с тобой еще дело сделаем. Большое дело…» Почему я так подумал? Потому что я вижу, что мужик не

трусливый, твердый, сердитый. И бедный. Ничего ему не дали бандитские дела, а он все-таки хорохорится. Я подумал: «Если ты так хорохоришься из-за бандитского своего самолюбия, значит, есть в тебе твердость. Значит, есть нам смысл повозиться с тобой». И я стал с ним возиться… И не жалею…

– А он все-таки убежал?

– Убежал. Но ты погляди, как дальше пошло. Воронцов ему велел пройти испытание. Лазарь бы его в два счета прошел, но он не пожелал. Ты думаешь, он испугался? Нет, он просто уже не видел смысла проходить бандитское испытание. Он вчера мне говорил на Черном омуте: «Комиссары это хорошо придумали – провести единый налог. Мужики довольны. Даже моя баба Фенечка, уж на что росомаха, и та довольна». Значит, видишь, куда он теперь тянет? Савелий ему все подготавливает испытание, держит его, как на привязи, около себя, сапоги ему преподнес. А он над Савелием уже смеется. Испытание теперь мы ему предложим…

– А кто это Савелий?

– Этот Савелий Боков – правая рука Воронцова. Редкий гад…

– Ты его, может, тоже сагитируешь за Советскую власть? – засмеялся я. – Он, наверно, тоже мужик твердый…

– Балаболка ты! – рассердился Венька. – С тобой серьезно разговариваешь, а ты как балаболка!..

Он подошел к краю плота и стал смотреть на реку, на бело-синий пыхтящий пароход, тянущий за собой против бурного течения две баржи, с верхом груженные мешками и бочками.

Пароход хлопал по воде широкими красными лопастями, подымал волны. И под нами закачались на волнах притянутые к берегу стальными канатами плоты.

– Ты думаешь, все это так просто? – заговорил он снова. – Моя мать вон какая умная женщина, все понимает, хорошая портниха. А до сих пор верит в бога. И ходит в церковь… И Лазарь мне на днях говорит: «Все бы ничего, но жалко, вы, коммунисты, попов не признаете. А ведь попы не сами себя выдумали». Я спрашиваю: «Ты что, без попов жить не можешь?» Он говорит: «Не в этом дело. Но ведь был какой-то порядок. И вдруг все сломалось…» Лазарь и в белой армии воевал, и в бандиты пошел не из-за одних только барышей. Барыши-то ему и не достались. Но ему внушали, все время вколачивали в башку, что он воюет против коммунистов, за какую-то святую Русь. И что бог это все оправдает – и грабежи и убийства. У Воронцова в банде до сих пор находится свой поп, отец Никодим Преображенский. И он там тоже туман напускает, что Советская власть не

от бога… А Советская власть только набирает силу. Она вот как этот пароход. Ей трудно, но она все-таки тянет. И смотри, волна какая…

Венька сложил перед носом ладони, подпрыгнул, как будто под ним были не плоты, а пружина, и бросился вниз головой в волны. Я сделал то же самое.

Опрокинувшись на спину, было приятно качаться на волнах. Но вода слишком холодная.

Я скоро вылез на плоты.

А Венька еще долго плавал разными способами – и «по-собачьи», и «по-бабьи», и «на посаженках», далеко выбрасывая длинные, сильные руки.

Из воды он вылез синий, постукивая зубами, и лег на плоты, подставив все тело горячему солнцу и только голову закрыв рубашкой.

Я прополаскивал в быстро текущей воде свою линялую тельняшку.

– Вот ты говоришь, – снял с лица рубашку Венька. – Вот ты как будто удивляешься, что я не обозлился, когда Лазарь признался или похвастался, что хотел убить меня. И что я как будто разыгрываю из себя монаха. Но это ерунда, – перевернулся на живот Венька. – Зимой во время операции в Золотой Пади я был злой, наверно, как дьявол. Это ж я убил Покатилова. И я точно знаю, что убил его я. И не жалею нисколько. Это было как в драке, как в бою. Но вот теперь смотри. Я веду допрос. – И он сел. – Вот так я сижу, а вот так арестованный. Он один. За ним уже никого нет. А за мной закон, государство со всеми пушками, пулеметами, со всей властью. Чего же я буду сердиться на арестованного? Государство же не сердится. Ленин говорит…

Вдруг бревно резко качнулось под Венькой, и нас обдало холодными брызгами.

Это Васька Царицын прямо с крутого берега прыгнул на плоты.

– Читаешь лекцию? – засмеялся он, посмотрев на Веньку.

Венька покраснел, так и не досказав, о чем говорит Ленин.

Васька, здороваясь, протянул нам широкую, измазанную мазутом ладонь. И лицо и шея у него были измазаны мазутом.

– Иду с работы, – весело сообщил он и стал раздеваться, присев на чуть вздыбленное рулевое бревно. – А вы что, уже искупались?

– Искупались, – сказал я, недовольный приходом Васьки.

Мне хотелось еще о многом расспросить Веньку. Он был в том хорошем душевном расположении, когда его можно было расспросить обо всем. А мне всегда казалось, что он знает больше, чем говорит. Говорит он обычно редко и почти всегда как-то отрывисто, затрудненно, будто тут же

додумывая и желая не столько собеседнику, сколько самому себе объяснить что-то сильно тревожащее его Душу.

Васька явно помешал нашему разговору. Но он, должно быть, не заметил этого. Раздевшись, лег на плоты с того края, где они ближе к берегу, и запустил обе руки в воду, добывая со дна серый илистый песок.

Натирая лицо и все тело этим песком, он без умолку что-то такое напевал себе под нос. Потом сказал:

– А я, ребята, сам вчера лекцию хорошую слушал. Оказывается, милиции-то не будет…

– Как это милиции не будет?

– Вот так! – торжествующе заявил Васька, уже весь как черт измазанный мокрым песком и илом. И даже волосы его слиплись и встали дыбом, как рога. – Оказывается, все это прекращается – и милиция, и уголовный розыск. И судить тоже никого не будут…

– Кто это тебе сказал?

– Как то есть кто? Лектор. Приехал, я не знаю откуда. Кажется, из Читы. Вчера у нас на электростанции читал лекцию. Потом будет, говорят, выступать в клубе Парижской коммуны…

– И что же он говорит?

– Да он много чего говорит. Но это верно, я сам своими ушами слышал, что уголовного розыска больше не будет. Все это отменяется. Вплоть до прокуратуры.

«Хорошенькое дело! – подумал я. – Мы завтра едем на операцию, а тут вон какие новости!»

– Брехня это все, – сказал Венька, опять развалившись на плотах и жмурясь от солнца. – Брехня, я тебе говорю…

– А вот и не брехня! – настаивал Васька, подпрыгивая на одной ноге на том осклизлом и вертящемся бревне, по которому ходил Венька. – Лектор приводит данные из книги Ленина. Я только забыл, какое название. У меня записано…

– А кто же, по-твоему, бандитов будет ловить? – спросил я Ваську. – Вы, что ли, с лектором их будете ловить?

– А бандитов вовсе не будет, – покачнулся Васька. И, не удержавшись на бревне, бултыхнулся в воду.

Из воды, отфыркиваясь, он закричал:

– Я вам это верно говорю, ребята! Можете кого угодно спросить, кто был на лекции. Я потом сам переспрашивал. Это верно, что все отменяется…

Мы лежали на плотах и смотрели на Ваську, изображавшего, как

плывет дохлая свинья, как купается пугливая барыня, как идет на дно утопленник.

Васька был прирожденным артистом. Принявшись изображать в воде, кто как купается, он, должно быть, тотчас же забыл только что сообщенную новость.

Нас эта новость тоже не сильно взволновала. Мы поняли, что тут какое-то недоразумение. Васька чего-то не понял, недобрал в рассуждениях лектора. И мы сказали ему об этом, когда он вылез из воды.

– Нет, я все хорошо понял, – прыгал он опять на одной ноге, стараясь вытряхнуть воду из уха. – И домзаков тоже не будет. Лектор это прямо говорит…

– А когда не будет? – насмешливо спросил Венька, подымаясь с бревен. – Завтра, что ли?

– Не завтра, но при коммунизме, – сказал Васька.

Венька смыл с ног присохший ил и водоросли и стал одеваться с той обстоятельностью и аккуратностью, которые мне всегда нравились в нем.

Одевшись полностью, замотав портянки и натянув сапоги, он стал застегивать поясной ремень и сказал:

– Это правильно, я читал, при коммунизме никаких властей не будет. При коммунизме все будет зависеть от совести людей…

Я еще раз потрогал свою выстиранную и растянутую на бревнах тельняшку. Она уже просохла. Я тоже стал одеваться, поглядывая, как причесывается Венька. Наклонившись над водой, он обмакивал в воду расческу, чтобы получше примять высохшие после купания волосы.

– Значит, я правильно вам сказал, – обрадовался Васька, продолжая прыгать то на левой, то на правой ноге.

– В общем, правильно, – согласился Венька. – Но надо было только сказать, что это будет при коммунизме. И лектор, наверно, так говорил…

– Ну да, – подтвердил Васька. – Он все время и говорил о том, как мы будем жить при коммунизме, какие будут города, заводы. И вообще, как все будет, когда наступит коммунизм…

А что он наступит очень скоро, в этом, конечно, никто из нас не сомневался.

Ни нам, ни Ваське Царицыну, ни, может быть, даже заезжему этому лектору не дано было тогда вообразить, через какие еще неслыханные страдания должен будет пройти весь наш народ, раньше чем в историческом далеке забрезжат огни социализма.

Васька остался купаться, а мы с Венькой пошли по отлогому откосу в гору, чтобы пересечь маленький садик на берегу реки, прежде

называвшийся Купеческим, а теперь – имени Борцов революции.

Много было уже переименовано в этом небольшом уездном городе – и учреждения, и улицы, и сады, – а люди все еще жили здесь в большинстве своем по-старому. Даже не то что по-старому, но с боязливой оглядкой, с выжидательной осторожностью, тревожимые то смутными слухами, то предчувствиями, то внезапными выстрелами в ночи.

Мы были пришлыми в этом городе. У нас здесь не было ни родных, ни знакомых. И мы неохотно заводили новые знакомства, чтобы случайно не оказаться в обществе враждебных нам людей.

Власть менялась здесь трижды за короткий срок. Уходили красные, приходили белые, потом опять утверждались красные. И у каждой власти, естественно, были свои приверженцы в этом добротном деревянном городе, омываемом, как сказали бы поэты, сумрачным океаном тайги.

Те, кто активно участвовал на стороне побежденных, вынуждены были уйти из города или притаиться в нем в надежде на перемены.

Победители же еще не чувствовали себя полными хозяевами положения, потому что хозяйством города, его торговлей и экономикой практически верховодили новоявленные предприниматели, так называемые нэпманы. Им принадлежали многие магазины и лавки, скупочные конторы и даже заводы, правда, небольшие: лесопильный, кожевенный и шубный.

И все-таки мы верили, что скоро наступит коммунизм. Мы верили в это даже вопреки тому, что против садика имени Борцов революции, из которого мы вышли на базарную площадь, уже был отремонтирован двухэтажный дом, и маляры, громыхая босыми ногами по железной, свежеокрашенной крыше, подымали на уровень второго этажа большую вывеску: «И.К. Долгушин. Кондитерский магазин».

– Ты смотри, и стекло хорошее где-то добыл! – показал Венька на отмытые окна дома, позолоченные косыми лучами предзакатного солнца. – А говорят, стекла нигде нету…

Долгушин укреплялся в городе как завоеватель. Вытеснить его с этих позиций будет, пожалуй, не так-то легко. Не легче, быть может, чем поймать и обезвредить Костю Воронцова. Но и Воронцов ведь еще не пойман. И неизвестно, удастся ли его поймать.

Край неба внезапно потемнел, когда мы переходили базарную площадь.

– Будет сильный дождь, – посмотрел я на небо.

– Не скоро, – сказал Венька. – Хотя давно бы пора. Жарко. – И остановился у бочки с квасом, возвышавшейся на телеге. – Будешь?

– Нет, – помотал я головой, – лучше дома попить чаю…

– Ну, как хочешь. – Венька протянул продавцу деньги и подставил под медный кран литую стеклянную кружку.

Потом он купил у лоточницы два треугольных пирога с черемуховой начинкой, один дал мне и, откусив, засмеялся:

– А про деньги Васька Царицын еще не знает…

– Про какие деньги?

– Ну, что денег при коммунизме тоже не будет. Я это читал. Все будут выдавать без денег…

Это для меня было новостью. Я про это еще не читал. И мне захотелось представить себе, как же будет выглядеть базар, если денег не будет.

И так постоянно: мысли о близком и дальнем, о будущем и настоящем шли почти одновременно в нашем сознании. О будущем мы думали даже чаще, взволнованнее, чем о настоящем.

У закрытого амбара стоял шарманщик с деревянной, как колотушка, ногой. На такой же ноге стояла подле него поддерживаемая им за ремень, обитая позолоченной жестью, обвешенная разноцветными стекляшками шарманка. А на шарманке, над ящиком с билетами, сидела белка с пушистым хвостом. Она держала в лапах незрелую, еще зеленоватую шишку с орехами и не грызла ее, а поглядывала по сторонам, так же, как шарманщик, – нет ли желающих проверить свое счастье, узнать свою судьбу.

Мы с удовольствием бы сами заплатили дорого, чтобы узнать свою судьбу, узнать, как сложится все через десять, через двадцать или тридцать лет. Но мы уже не верили в белку, в то, что она может предсказать.

Мы просто стояли в стороне, у закрытого амбара, доедали пироги и рассеянно смотрели на все, что происходило вокруг нас.

Молодая женщина развязала зубами узелок на носовом платке, вынула деньги, подала шарманщику.

Белка, тотчас же отложив шишку, деловито, как конторщица, стала рыться лапками в ящике. Наконец она вынула синий билетик. Шарманщик развернул его и прочитал женщине:

– «Бойся пуще всего черного глаза. Тебя преследует черный глаз».

– Женский или мужской? – испуганно, почти шепотом спросила женщина.

– Чего это?

– Какой глаз-то меня преследует, скажите, пожалуйста, гражданин, мужской или женский?

– Этого уж я не знаю, – пожал плечами шарманщик. – Если желаешь,

можешь приобрести еще один билет. Может, белка сделает тебе прояснение твоей судьбы.

Женщина снова развязала зубами узелок и приобрела еще один билет. Белка его вынула. Шарманщик прочитал:

– «Мужчины слишком коварны. В замужестве особого счастья не жди».

Венька улыбнулся и сказал шарманщику:

– Для чего это пугаешь народ? Ты придумал бы что-нибудь такое веселое…

– А вы, гражданин, отойдите, – строго попросил шарманщик Веньку. – Я никого не пугаю. Народ и так хорошо напуганный…

Шарманщик поудобнее натянул на плечо ремень от шарманки и, закрутив ручкой, заиграл и запел сердитым, пронзительным голосом, будто угрожая всему свету:

Пускай могила меня накажет
За то, что я тебя люблю.
Но я могилы не страшуся,
Кого люблю я, с тем помру.

Мне показалось, что от этой песни, от голоса шарманщика, от визга и дребезга шарманки потемневшее, предгрозовое небо еще ниже спустилось над базаром.

– Ерунда какая! – сказал Венька. Но это он сказал, я думаю, не о песне и не о шарманщике, а о чем-то ином, что вдруг встревожило его, и посмотрел на ручные часы. – Ты сейчас домой?

– Домой. А ты?

– А мне еще надо тут зайти…

Я прямо спросил:

– К Юльке?

Он утвердительно мотнул головой и конфузливо улыбнулся.

Ложась непривычно рано спать – в одиннадцатом часу, – я распахнул наше единственное окно, так как в комнате было нестерпимо душно, а на улице темно от черной тучи, плотно обложившей уже все небо. Ночью, наверно, будет гроза.

Я проснулся от шороха. Венька, по-кошачьи пригнувшись, влезал в окно.

– Хорош сыщик! – засмеялся он надо мной. – Открыл окошко и спит.

Залезай кто хочет и вытаскивай тебя за ноги, как жареного зайца.

– Дышать нечем, – сказал я, – даже голова заболела…

– И мне что-то нехорошо, – сразу посерьезнел Венька.

Он зажег лампу и сел к столу, подперев щеку ладонью, будто у него вдруг заболели зубы.

– Несмелый я человек, вот в чем беда, – сознался он после некоторого молчания. – Не могу я ей вот просто так сказать. Робею.

– Насчет чего?

– Ну вот, опять здравствуйте! – поморщился Венька. – Насчет чего! Насчет чего прошлый раз говорили?

– А! – вспомнил я. И, сонный, не знал, что ему посоветовать.

А он настойчиво ждал ответа.

– Хочу написать ей письмо, – наконец сказал он.

– Письмо бы писать не надо.

– А что делать?

– Может, ты потом с ней поговоришь?

– Потом, потом! Когда же потом? Так все лето пройдет…

– А может, ничего ей пока не говорить? – неуверенно предложил я.

– Ну как же это можно не говорить? – возмутился Венька. – Это же, выходит, обман…

– Да, в общем-то нехорошо получается, – вяло согласился я, побарываемый сном. И вскоре уснул в этой предгрозовой духоте, так ничего путного и не посоветовав Веньке.

Я спал и видел страшный сон. За мной, маленьким, может быть трехлетним и бесштанным, гналась огромная лохматая собака. Я бежал из последних сил. И, страшась собаки во сне, в то же время думал, не просыпаясь: собака это к добру, она друг человека. Бабушка говорила, что видеть собаку во сне хорошо.

Вдруг собака догнала меня и схватила за шею. Я вскрикнул.

– Извини, – потрогал меня Венька. – Я хотел тебе прочитать, чего я ей пишу. Интересно, что ты скажешь. Слушай…

И он, стоя передо мной в лиловых, как чернила, трусиках, читал только что сочиненное письмо, на котором, наверно, не остыло еще тепло его рук.

Из письма до сознания моего долетали отдельные фразы, вроде: «… Принимая во внимание, что я первый чистосердечно сообщил тебе, ты, по-моему, должна учесть…» или: «Я хочу, чтобы ты потом не уличала меня, будто я какой-то двоедушный…»

Письмо он закончил словами, памятными мне до сих пор:

«Я хочу, чтобы жизнь наша была чистой, как родник, чтобы мы понимали друг друга с полуслова и никогда бы не ссорились, как другие, которых мы наблюдаем каждый день.

Подумай хорошенько, взвесь все обстоятельства «за» и «против» и ответь мне, пожалуйста, в письме или в записке, если тебе неловко отвечать на словах, как мне в эту минуту, в эту душную ночь перед грозой, когда я все это пишу и волнуюсь.

Осторожно жму твою красивую руку, робко гляжу в твои честные, таинственные глаза. Обещаю любить тебя всю жизнь, как самого любимого товарища.

С комсомольским приветом

Вениамин Малышев».

– Как считаешь, правильно? – спросил он меня.

– Правильно, – сказал я.

– Ну, тогда будем спать, – удовлетворенно вздохнул он, будто сбросил с себя тягчайший груз. – Утром чистенько перепишу…

За окном в небе сильно загрохотало, треснуло, разорвалось.

Небо на мгновение осветилось ярчайшим светом. И сразу по железной крыше, по наличникам, по стеклам открытого окна загремел, застучал, забарабанил крупный, благодатный, освежающий воздух и землю дождь.

А когда он вскоре закончился, оказалось, что уже наступило утро. Больше спать нельзя. Некогда спать.

Венька, так и не переписав письмо начисто, запечатал его в конверт, надписал на конверте адрес: «Кузнечная, 6, получить товарищу Юлии Мальцевой», – облизал языком марку, наклеил и сказал:

– Надо сейчас же отправить. А то вдруг передумаю. – И, помолчав, добавил: – Не люблю людей, которые все по десять раз передумывают. И сам не люблю передумывать. Уж раз решил – значит, нужно делать…

Венька как будто сам подбадривал себя.

Мы вышли на освеженную дождем улицу, пахнувшую омытой листвой и взрытой землей.

Венька перешел через дорогу, бросил письмо в почтовый ящик, внимательно посмотрел на него и улыбнулся грустно.

18

Дождь прошел только над самыми Дударями. А над трактом стояла такая же нестерпимая жара, как вчера, как все это лето. И по-прежнему летела желтая удушливая пыль.

Мы ехали не быстро, верхом на лошадях, взятых из конного резерва милиции. Нас было шесть человек вместе с начальником.

«Не мало ли? – подумал я, снова оглядев всех на тракте. – Не мало ли нас собралось, чтобы ловить неуловимого Костю Воронцова, „императора“ не „императора“, но все-таки нешуточного бандита? Неужели нельзя было опять сговориться хотя бы с повторкурсами? Пусть бы они послали с нами курсантов…»

Я ехал на рыжем, белолобом мерине рядом с Колей Соловьевым, выбравшим себе серого в яблоках жеребца, а Венька Малышев – позади нас, на такой же как у начальника, каурой кобылице. Он о чем-то спорил с начальником. Потом, хмурый, подъехал к нам. Он был хмурый оттого, что начальник в последний момент не согласился с ним и все-таки взял на эту операцию Иосифа Голубчика.

– Ну вот, припадочный опять едет, – сказал нам Венька. – Работаешь всю весну и почти что все лето как зверь. Все налаживаешь. Потом берут припадочного, и он может поломать всю операцию. Из-за своего геройства.

– Пусть теперь начальник за ним сам наблюдает, – покосился в сторону Голубчика Коля Соловьев. – Мы за этого орла не можем отвечать.

– Можем или не можем, а все равно ответить придется, – сказал Венька. И я ждал, что он повторит свою любимую фразу о нашей ответственности за все, что было при нас.

Но Венька промолчал и подъехал к Голубчику, фасонисто, с этакой лихостью сидевшему в казацком седле впереди нас на гнедой поджарой лошади. Видно, что Венька уговаривает Голубчика. А Голубчик, должно быть, не соглашается на уговоры и смеется, наматывая на руку ремешок от рукоятки плети.

Я вижу, как у Веньки бледнеет лицо, когда он оглядывается на начальника. Это значит, что Венька злится.

«Да плюнь ты на этого Голубчика! – хочется мне крикнуть Веньке. – Ну, едет – и пусть едет. Пусть начальник потом нянчится с ним…»

Мне обидно за Веньку, и я очень сердито думаю о нашем начальнике. Неужели он не понимает, что действительно может поломаться вся

операция из-за его самолюбия, из-за того, что он пожелал взять на операцию этого недоучившегося гимназиста?

Уже два раза были неприятности из-за него: зимой, когда окружали Клочкова в Золотой Пади, и еще прошлым летом, во время операции на Жужелихе. Голубчик тогда, на Жужелихе, тоже преждевременно открыл стрельбу, желая показать начальнику свое геройство.

Я подъезжаю к Веньке, когда он удаляется от Голубчика, так, видимо, ни о чем и не договорившись с ним.

– А может, сделать по-другому? – советую я Веньке. – Если уж начальник упрямится, и ты ведь тоже можешь заупрямиться. Ты можешь сказать, что у тебя опять заболело плечо или еще что-нибудь и ты не можешь участвовать в операции. Пусть тогда начальник вместе со своим любимым Голубчиком ловят Костю. Забавно будет посмотреть, как они его будут ловить!

Я смеюсь. Но Венька все больше хмурится. Наконец он медленно и сердито говорит:

– Никогда не думал, что ты посоветуешь такую ерунду. Что я тут, для начальника, что ли, стараюсь? Нужно мне для него стараться? – И, тронув шенкелями каурую кобылу, он опять подъезжает к начальнику, опять о чем-то спорит с ним.

А начальник делает строгое, величественное лицо. Вот такое лицо он делает всякий раз, когда произносит свои глубокомудрые слова:

– Если память мне не изменяет, я пока тут числюсь как будто начальником…

Я угадываю, что именно эти слова он произносит сейчас.

А Венька, натягивая поводья так, что лошадь задирает голову, продолжает настаивать на чем-то.

Я напрягаю слух и откидываюсь на седле. Мне хочется понять, о чем они спорят.

Наконец до меня долетают слова начальника:

– Ну, делай как хочешь. Но только помни, Малышев…

А что надо помнить Малышеву, я не слышу.

Венька подъезжает ко мне.

– Начальник приказал, чтобы ты, я и Коля свернули сейчас на Девичий двор. Давайте поскорее проедем вперед…

Лицо у Веньки повеселевшее. Я понимаю, что это не начальник приказал, а Венька склонил начальника к такому распоряжению.

Мы сворачиваем с тракта в сторону Девичьего двора и въезжаем в густой, толстоствольный лес, где можно продвигаться только гуськом друг

за другом, по узенькой тропинке, которая то исчезает, то возникает вновь, петляя и извиваясь.

Вот уж где совершенно нечем дышать, как в бане, в парном отделении, когда парятся сибирские древние старики. Мы сразу же покрываемся липкой испариной. И на потные наши лица и руки налипает густая мошкара. Она вместе с дыханием попадает в рот, в горло.

Я все время отплевываюсь. А Венька весело спрашивает меня:

– Ты вспоминаешь эти места?

– Ну да, – откликаюсь я не очень весело, потому что ничего не вспоминаю и некогда мне вспоминать.

– Мы же были тут с тобой зимой, – говорит он. – Помнишь?

Я утвердительно мотаю головой, стараясь одновременно отбиться от мошкары, облепившей и шею и плечи и, кажется, пробравшейся уже во все мои внутренности.

– Помнишь? – опять спрашивает Венька.

– Помню, – говорю я.

Однако, мне думается, я никогда не бывал в таком аду.

Даже всегда невозмутимый Коля Соловьев говорит:

– Жалко, я маску против мошкары с собой не захватил. Хотел захватить и забыл. Беда как беспокоят, заразы! Прямо глаза выедают…

Временами мы едем почти в полной темноте. Высокие и густые вершины деревьев заслоняют солнце, не пропускают света.

Под ногами лошадей хрустят сухие ветки.

А мошкара и во тьме терзает нас.

– Мы тут, левее, с тобой проходили зимой, – вспоминает Венька.

А я по-прежнему ничего не вспоминаю.

– Тут речка недалеко, – как бы успокаивает он меня и Колю Соловьева. И голос у него все время веселый, даже радостный. Неужели его не тревожит мошкара? Или он просто не замечает ее, потому что увлечен предприятием, о котором мечтал давно? Жалко, что мы не сможем искупаться. Мало времени. Еще долго ехать…

Мы выезжаем из мрачного леса на великолепную, сияющую под солнцем поляну. Но Венька сворачивает опять в лес, и мы снова едем гуськом.

– Тут трясина, – показывает нагайкой на поляну Венька. – Помнишь, я тебе рассказывал, как я тут чуть-чуть не увяз?

Действительно, вскоре показалась узенькая речка. От нее повеяло прохладой.

Мы поехали по берегу, глядя на быструю синюю воду, ревущую на

острых камнях, на шивере.

Запахло смородиной, вернее, смородиновым листом и нагретой солнцем березовой корой.

Березы весело белели стройными стволами и переливались листвой, словно обрадованные на всю жизнь тем, что вырвались на солнышко из чащи тайги, где их душили сосны, и ели, и непроходимый бурелом.

Венька спрыгнул с седла, присел на обомшелый пень, снял сапоги и брюки и стал переводить коня, похлопывая его по шее, через ревущий неглубокий поток. Мы с Колей Соловьевым, как говорится, последовали его примеру. Поплескались немножко в холодной воде. И поехали дальше вдоль кромки тайги.

Над нами теперь торжественно шумели темно-зелеными вершинами красивые, стройные кедры.

– Шишек-то сколько! – показал все время молчавший Коля. И вздохнул: Ох, приехать бы сюда когда-нибудь запросто! Пошишковать. Я любитель этого дела…

– А что, приедем когда-нибудь, – сказал Венька. – Всех бандюг переведем и приедем. Тут мировые места. Можно свободно любой дом отдыха открыть. Не хуже, чем на Байкале открыли в прошлом году…

– А мошкара? – поплевал я на ладонь и помазал горящую, как от ожога, шею. – Мошкару куда девать?

– Мошкара – это ерунда, – тоже поплевал на ладонь Венька. Значит, она все-таки и его беспокоит. – Мошкару можно, как и бандитов, перевести. Даже легче…

– Я читал, – разговорился молчаливый Коля, – я читал в одном журнале, что от мошкары есть хорошее средство. Вроде порошка. Только надо этим порошком с аэропланов посыпать…

– Пустяки! – засмеялся я. – Но надо сперва своих собственных аэропланов настроить, русских. А это очень не просто…

– А что особенного-то? – сказал Венька. – Не настроим, что ли? Еще столько аэропланов настроим, что будь здоров, не кашляй…

И от этих мальчишеских, хвастливых слов всем нам стало так весело, что мы не заметили, как Венька свернул в совсем уж нестерпимо душный участок тайги, полный мошкары и каких-то крупных, оглушительно жужжавших мух, от укуса которых лошади всхрапывают, вскидывают головы и со свистом обмахиваются хвостами, а у нас мгновенно всплывают на коже большие, разъедающие кожу волдыри.

Я все время плевал на руку, чтобы смазывать места укусов. Но вот уже истощилась слюна. Во рту пересохло.

А сухие ветки трещат в темноте, бьют по лицу. Чего доброго, и глаза так выколешь, и рот раздерешь.

Я закрываю глаза и наклоняюсь над гривой фыркающего мерина. Ветки бьют меня по голове, по ногам. Но я не открываю глаз до тех пор, пока резкий свет не ударяет мне в лицо.

Оказывается, мы опять выезжаем на просторную поляну. И опять рядом с нами на взгорье шелестят вершинами высоченные кедры. И тотчас же мы замечаем множество красивых, похожих издалека на голубей птиц. Однако они мельче голубей, и полет у них не голубиный, а какой-то суетливый. Они то взлетают над кедрами, то как бы ныряют в мохнатую темную зелень.

– Ух, подлюги! – кричит Коля Соловьев. – Ух, подлюги поганые! – И, придерживая серого жеребца, грозит птицам нагайкой. – Вы глядите, что делают, твари! Это ж кедровки!..

Венька спрыгивает с лошади.

– Правильно, это кедровки. Они сейчас тут облупят все шишки…

– Да вот в том-то и дело, что не все, – говорит Коля. – Они ведь как делают, гады! Они только сверху затронут шишки, полущат, полущат и бросят. И куда уж она тогда годится? Ух, подлюги, подлюги!..

Коля расстраивается так, будто кедры эти принадлежат лично ему, будто кедровки налетели на его собственный сад и вот теперь он просто не знает, что делать.

И Венька сочувственно качает головой.

А я тоже, как они, спрыгнув с седла, разминаю ноги, и мне тоже жаль шишек. Хотя, быть может, мы больше никогда в жизни не попадем в эти места и не попробуем этих кедровых орехов.

– Эх, вырубить бы колотень! – неотрывно смотрит на кедры Коля. – Можно было бы насшибать шишек. Вы глядите, уж много спелых. А то, слушай, Вениамин, может, я залезу сейчас на минутку, а? На одну минутку. Сшибу хоть десятка три на дорогу…

– Некогда, – говорит Венька. И заметно колеблется.

– А то я залезу? – опять предлагает Коля. – Тут же одна минутка…

– Некогда, – уже тверже повторяет Венька. И ставит ногу в стремя.

Мы едем дальше по широким просекам, переплетенным толстыми корнями елей, и всю дорогу разговариваем о кедровых шишках и о подлом поведении кедровок, бандитствующих в кедровых лесах.

Коля Соловьев вспоминает интересные случаи из своей охотничьей жизни. Мы с Венькой также кое-что вспоминаем. Коля говорит, что в этом году, однако, много будет белки, если такой урожай на орехи. Да и соболь,

наверно, проявится. Он тоже большой любитель орехов.

– Орехи все любят, – улыбается Венька. – Лазарь говорит, что ими можно даже чахотку лечить…

– Какой это Лазарь? – как бы настораживается Коля, чуть придерживая нервного жеребца.

– Лазарь Баукин.

Венька заметно смущается и, наклонившись, поправляет подседельник. Ведь Коля, кажется, ничего не знает о том, что Венька поддерживает связь с Лазарем Баукиным и что еще зимой мы здесь встречались с ним. Об этом мы никому не рассказывали. Может быть, только начальнику об этом докладывал Венька.

– Он, наверно, тут где-то бродит, – говорит Коля. – Он, мне помнится, из этих мест.

– Из этих, – подтверждает Венька. – Он эти места как свои пять пальцев знает. Может повсюду зажмурившись пройти…

– Ну конечно. У него дело тонкое, – усмехается Коля. – Он и от нас тогда моментально ушел. И все концы в воду. Ух, если б я его встретил!..

– Еще встретишь. Может, сегодня еще встретишь, – смеется Венька. И сразу же становится серьезным, даже озабоченным, внимательно оглядывая местность. – Нет, скорее, завтра увидим Лазаря…

Коля молчит, перебирает поводья, что-то соображает, потом спрашивает:

– Он что ж, теперь, выходит, от нас работает?

– Зачем ему работать от нас? – уклончиво отвечает Венька. – Он может работать и от себя. Он мужик головастый и вполне сознательный…

Это слово «сознательный» было в те годы в большом ходу. Им как бы награждали человека. Сознательный – значит понимающий, осознающий, с какими трудностями связано построение нового мира, и готовый пойти на любые жертвы в преодолении трудностей.

Мне, быть может, так же, как Коле, показалось, что Венька явно перехватил, обозначив таким почти что священным словом Лазаря Баукина, еще недавно состоявшего в банде Клочкова. Но мы оба промолчали.

Венька ведь не просто наш товарищ, такой же, как мы, комсомолец, но и в некотором смысле наш начальник. И это следовало нам помнить, особенно сейчас, когда мы ехали на операцию. Он знает, наверно, что-то такое и про Лазаря Баукина, чего мы еще не знаем и что еще не положено нам знать.

Однако Венька сам, должно быть, понял, что мы не согласились с ним, и, поворачивая свою каурую кобылицу опять в густой, непроглядный лес

сказал:

– Вы завтра увидите, как работает Лазарь…

– А мы что, завтра будем брать Воронцова? – спросил ничему на свете не удивляющийся Коля.

– Завтра. Наверно, завтра, – не очень уверенно подтвердил Венька и, отодвинув рукой широкую и длинную еловую ветку, направил лошадь по еле различимой тропе.

Из этого леса мы выбрались уже в сумерки и въехали в деревню.

– Ну, хоть эти-то места узнаешь? – опять спросил меня Венька. – Это же деревня Дымок. Мы тут на аэросанях проезжали. Помнишь?

– Помню, – сказал я, хотя ничего не помнил. Ведь тогда была зима. Все укрыто было снегом.

А теперь лето. И в деревне, как на тракте, пахнет горячей пылью. Нет, не только пылью, но и коровьим навозом, печным дымом и парным молоком.

Мы ехали по затихшей деревне шагом, оглядывая темные избы. Нигде ни одного огонька. Жители спят, и даже собак не слышно.

– Интересно, прибыл наш начальник или еще нет? – вслух задумался Венька. – А я все-таки немножко промазал…

– В каком смысле? – спросил я.

– Немножко, должно быть, не рассчитал, – вздохнул Венька. – Лишний крюк сделали, а никого не встретили. Придется сейчас еще промяться.

Меня встревожили эти слова. Неужели нам сегодня, сейчас надо будет ехать дальше? Ведь даже кони, пожалуй, не выдержат.

Проехав почти всю деревню, мы увидели огонек, вернее, светлую щель в занавешенном окне.

Венька спрыгнул с лошади и повел ее за повод. Мы сделали то же самое. Значит, мы приехали.

В просторной, прохладной избе у пыхтящего, как паровоз, огромного самовара сидел под лампой наш начальник, пил чай и рассматривал карту.

Он возил ее с собой почти на каждую операцию в уезде и рассматривал с таким выражением на лице, точно видит на карте живых бандитов и уже прицеливается в них.

Около него стояли и сидели Иосиф Голубчик, старший милиционер Семен Воробьев и Бодягин Петя, прозванный за постоянную и часто неуместную резвость Бегунком.

– О, – сказал начальник, увидев нас, – здорово мы вас опередили!

– Да вот так получилось, – виновато пожал плечами Венька. И, подойдя к начальнику, стал негромко разговаривать с ним, объясняя ему

какую-то свою оплошность.

Но начальник не сердился на него. Был настроен, как показалось мне, даже весело.

– Садитесь с нами чай пить, – весело пригласил он нас.

На столе соленый омуль, медвежий окорок и картошка в мундирах.

Мы с Колей Соловьевым сразу же сели без церемоний. Мы ничего ведь не ели с самого раннего утра.

А Венька, который тоже ничего не ел, отозвал в сторонку Воробьева и спросил:

– Можно я на твоей кобыленке тут недалеко съезжу? Моя сильно пристала. Погляди, если не трудно, за моей… Покормить бы ее надо…

– Пожалуйста, – сказал Воробьев. И усмехнулся, потрогав свои пышные усы. – Только учти, дорогой товарищ, у меня кобыленка слишком кусучая. Она посторонних почему-то не шибко любит…

– Ничего, – улыбнулся Венька. – Может, она меня полюбит.

И, ни слова больше не сказав начальнику, уехал во тьму таежной ночи. Было слышно, как захрустел щебень под копытами неутомимой воробьевской кобыленки.

Начальник продолжал рассматривать карту. Потом он поднял глаза на часы-ходики, висевшие на бревенчатой стене, потянулся и сказал Воробьеву:

– Время еще есть. Я, пожалуй, прилягу. Мне все-таки не семнадцать лет. Обеспечь охрану, чтобы было тихо. Понятно?

– Понятно. Будет сделано, – почтительно пообещал Воробьев.

– Если я засплюсь, разбудишь.

– Разбужу, а как же, – опять пообещал Воробьев, который был постарше нашего начальника, но спать не собирался. – Будьте покойны, я тут на своих собственных ногах…

Венька все не возвращался.

Делать было нечего. Мы с Колей Соловьевым вышли посмотреть, как едят в темноте болтушку с отрубями и овсом наши кони.

Болтушка была замешена в трех колодинах, выдолбленных в толстых лиственничных бревнах. У каждой колодины – два коня. Они устало переступали с ноги на ногу и лениво обмахивались хвостами.

Недалеко от лошадей настлана солома. На соломе белеет рубашка Голубчика. По примеру начальника он тоже прилег. Рядом с ним поместился наконец угомонившийся Петя Бегунок.

Мы с Колей Соловьевым поглядели на них и тоже прилегли на солому. Прилегли и сразу же задремали.

Я проснулся от тихого разговора во дворе.

– Не покусала она тебя? – заботливо спрашивал Воробьев, светя во тьме красным огоньком самокрутки.

– Ну для чего же она будет меня кусать?

Я узнал голос Веньки. Значит, он уже вернулся.

– Стало быть, фартовый ты, – говорил Воробьев, и было слышно, как он похлопывает кобыленку по крупу. – Она зимой наробраза покусала.

– Кого?

– Наробраза. От народного образования приезжал сюда человек из Дударей – Михаила Семеныч Кущ. Она очки ему сбила и грудь ободрала зубами. А тебя, гляди-ка, не тронула. Стало быть, ты фартовый, ежели тебя и лошади уважают. Это хороший признак! Очень хороший…

Венька засмеялся.

– Но ведь тебя она тоже уважает, товарищ Воробьев, твоя кобыленка.

– Мне она – обязана. Я над ней, как ни скажи, первое начальство, напомнил с достоинством Воробьев. И стал водить лошадь по двору, чтобы она не запалилась от бега. – Ездил-то ты на ней далеко ли?

– Нет, не далеко. Тут рядом…

– Ну, не заливай. Ты гляди, какая она мокрая, и бока ходуном ходят. А за лошадью, это имей в виду, нужен глаз, как за ребенком. Ежели желаешь, чтобы лошадь была постоянно на ходу, когда это требуется по делу неотложной важности…

Разговор был тихий, хозяйственный, ничем не напоминавший о том, что скоро предстоит важнейшая операция.

Венька подошел к своей кобылице, похлопал ее по крупу, точно так же, как Воробьев свою кобыленку. Потом спросил:

– Начальник в избе?

– В избе, – сказал Воробьев. И почтительно добавил: – Отдыхает.

– Отдыхать некогда, – сказал Венька. – Сейчас поедем. Сейчас по холодку далеко можно проехать…

– Может, чаю попьешь?

– Некогда. – Венька пошел в избу, но на крыльце остановился и спросил Воробьева, как мальчик-сирота: – Хлебца кусочек не найдется? Что-то у меня сосет внутри…

– Как же это не найдется! – забеспокоился Воробьев. – И мясо найду. И все, что надо. Как же можно, не жравши, воевать!..

Он привязал кобыленку и вслед за Венькой вошел в избу.

Минут пять спустя Венька вышел на крыльцо. И в полосе света, выпавшей из избы, было видно, что в руках у него кусок хлеба и кусок

мяса. Он ел и говорил Воробьеву, опять появившемуся на крыльце:

– Ты, Семен Михайлович, сейчас с нами можешь не ехать. Пусть твоя лошаденка отдохнет. Ты часам к двенадцати к нам подъедешь – к Пузыреву озеру.

– Нет, уж я сейчас поеду, – сказал Воробьев. – Ты за мою Тигру не беспокойся.

– За какую Тигру?

– Ну, кобыленку-то мою Тигрой зовут.

Венька опять засмеялся. И смеялся так, будто ничего смешнее этих слов никогда в жизни не слышал.

19

Было раннее утро, когда мы подъезжали к Пузыреву озеру.

Только что проснувшийся лес полон был птичьего щебета и той влажной, пахучей свежести, которая скапливается за ночь в листве и мхах и при свете солнца распространяется по земле, оздоровляя все живое, оживляя мертвое и волнуя души людей предчувствием великого счастья.

Люди, может быть, всего добрее бывают именно в утренние часы возвышеннее, великодушнее. И настроиться на суровый лад им не так легко, когда все вокруг торжествует и радуется восходящему солнцу.

А мы ехали, как говорится, на дело.

По плану операции, расчерченному нашим начальником на карте, мы должны были, как он выразился, закупорить большак, то есть одну из главных на этом участке таежных магистралей, по которой минувшей ночью проехал «император всея тайги» к своей возлюбленной – Кланьке Звягиной.

Я помнил, что Кланька живет на взгорье, на Безымянной заимке, у самого пруда. Но я сейчас ни за что не разыскал бы эту заимку. И мне неловко было спрашивать, далеко ли до нее. Да и спрашивать некого.

Мы ехали по лесу вдвоем с Колей Соловьевым, который знал об условиях предстоящей операции, наверно, еще меньше меня.

Остальные же из нашей группы вместе с начальником продвигались по ту сторону большака. Их было не видно и не слышно.

В лесу сгустилась необыкновенная тишина. И только где-то в отдалении усердно трудился дятел, добывая себе нелегким способом необходимое пропитание.

Всякий разумный человек, наверно, подумал бы о том, что это не простое и, пожалуй, даже рискованное дело – закупорить большак, если нас всего шестеро и мы не знаем в точности, сколько бандитов сопровождает Костю Воронцова. Ведь не один он поехал к своей невесте. Едва ли он решился бы поехать один. А вдруг не мы, а он закупорит нам все пути?

Эта мысль, конечно, встревожила бы и меня, если бы она тогда сразу достигла моего сознания. Но мой мозг все еще был объят дремотой, и я заботился только о том, чтобы не задремать в седле.

А задремать было легко. Все-таки я не спал уже две ночи. В ту ночь в Дударях меня томила духота и Венька мешал мне спать, читая свое письмо.

И в эту ночь, кажется, никто из нас по-настоящему не уснул.

Сквозь дрему, склеивающую глаза, я изредка поглядывал на Колю, то едущего рядом со мной, то отстающего. И мне казалось, что он тоже задремывает. Вот сейчас мы оба уснем в этом опасном лесу. У меня набрякли веки. Больно смотреть. Я закрыл глаза.

Вдруг Коля толкнул меня рукояткой нагайки в плечо.

– Медведь!

– Где медведь?

– Ну, откуда я знаю где, – благодушно ответил Коля. – Был и вышел…

Я опять закрыл глаза, но Коля снова толкнул меня в плечо.

– Гляди, деревья-то какие…

Я поглядел на деревья, но ничего особенного не заметил.

– Ободранные, – сказал Коля. – Это медведи их ободрали. У них сейчас, наверно, самая свадьба. Хотя по времени-то им пора бы уже отгулять…

Правда, теперь я разглядел: на нескольких деревьях ободранная кора.

Медведи, это я знал, в дни гоньбы сильно злятся, царапают когтями землю, становятся на дыбы и передними лапами обдирают кору с деревьев.

Наклонившись с седла, я потрогал толстую осину, с которой длинными лоскутьями свисала зеленовато-бурая кора.

Видно было, что содрана она совсем недавно, час или десять минут назад: мезга еще не подсохла. Значит, и медведь ушел недалеко. Может, он бродит где-то тут. Может, он уже скрадывает нас.

Это напрасно рассказывают, что медведь будто бы глупее лисы, что он неповоротливый, ленивый. Медведь и хитер и быстр, когда это нужно ему. И нам не уйти от него даже на лошадях, если он захочет нас преследовать в этом лесу.

А стрелять нам не ведено. Венька еще в деревне передал нам строжайшее распоряжение начальника: ни в коем случае не стрелять в лесу без особой команды. Вот загадка для младшего возраста: что делать, если на тебя напал медведь, а стрелять тебе нельзя?

Мою дремоту как рукой сняло.

Невдалеке от нас затрещали сучья. Кто-то тяжелый пробирался по лесу в нашу сторону.

Коля Соловьев придержал коня и вскинул карабин, висевший на шее.

Я потрогал шершавую, рубчатую оболочку гранаты и тут же вспомнил инструкцию, в которой сказано, что «гранату бросать на близком расстоянии, не обеспечив себе укрытия, не рекомендуется». Но мало ли что не рекомендуется! Я все равно брошу, если…

Из зарослей кустарника высунулась лошадиная морда с пеной на губах, а над листвой показалась голова Веньки Малышева в кепке козырьком назад.

– Ну, как вы, ребята?

– Чуть-чуть тебя не стукнули, – засмеялся Коля.

– С чего это вдруг?

– Подумали, медведь…

Венька тоже засмеялся:

– Ну, откуда тут медведи!..

– А это что? – показал Коля на осину.

Венька, как я, подъехал к дереву и с седла потрогал мезгу.

И в этот момент недалеко от нас раздался страшный рев.

Венька оглянулся, и я увидел, как лицо у него дернулось и застыло в испуге. А у меня задрожали руки и ноги и острый холодок пробежал по спине.

– Медведь! – сказал Коля.

А я ни слова не мог выговорить. И Венька тоже.

Позднее мне думалось, что сам я испугался не столько медвежьего рева, сколько выражения лица Веньки. Уж если Венька боится – значит, действительно страшно. И мой рыжий ленивый мерин подо мной забеспокоился. Я чувствовал, как вздрагивает он всей мохнатой, вспотевшей шкурой.

– Я слово даю, что это медведь, – опять сказал Коля.

– Медведь, – согласился Венька. Голос у него вдруг сделался тихий-тихий. И он, как по секрету, сообщил нам: – Я в жизни второй раз слышу, как он ревет. Хуже его рева, наверно, ничего нету…

– Это на него человечьим духом нанесло, – догадался Коля. – Человечьим и еще конским духом. Потным, парным. Это для него все равно что для нас конфетка…

Медведь опять заревел – протяжно, яростно, с хрипотцой. И еще раз. И еще.

Нет, это, кажется, не один медведь ревет. Может быть, их двое или трое.

Может быть, они сейчас дерутся где-нибудь на поляне из-за самки.

Я это еще в детстве слышал, что медведи часто дерутся во время свадьбы. Вот, наверно, они и сейчас дерутся. Но если мы их спугнем, нам будет плохо.

Я представляю себе во всех подробностях, как медведи, прервав междоусобицу, бросаются на нас.

Всю жизнь меня пугали не столько действительные, сколько воображаемые опасности. И всю жизнь я завидовал людям или начисто лишенным воображения, или ограниченным в своих представлениях. Им живется, мне думалось, много спокойнее. Их сердца медленнее сгорают. Им даже чаще достаются награды за спокойствие и выдержку. Их минуют многие дополнительные огорчения, но им, однако, недоступны и многие радости, порождаемые воображением, способным в одинаковой степени и омрачать, и украшать, и возвеличивать человеческую жизнь.

Медведи ревели все сильнее, все яростнее.

Мне казалось, что мы движемся прямо на них. Вот сейчас мы выедем на ту цветущую, обогретую солнцем поляну, где они дерутся подле звенящего на камнях прохладного ключа. А в стороне от ключа, под корягой, под замшелой валежиной, удобно и прочно устроено гайно медведицы – царственное ложе невозмутимой красавицы, даже не сильно польщенной, может быть, что из-за нее сцепились в кровавом поединке самые могущественные властелины тайги.

Я представляю себе в подробностях поединок медведей, хотя никогда не видел его в действительности, и все время держу руку на гранате. Она становится влажной от вспотевшей моей руки, и я слышу ее железный запах.

И слышу голос Веньки, едущего впереди:

– Но имейте в виду, ребята, начальник еще раз нам твердо приказал, что бы ни случилось, стрельбы не открывать. Мы обязаны взять «императора» живьем Убивать его мы не имеем права…

– А он нас тоже не имеет права убивать?

Это спрашивает Коля и смеется.

Венька не успевает ему ответить. Да Коля и не ждет ответа. Он увидел что-то занятное в траве и кричит:

– Ой, глядите, ребята, оправился! На цветы, прямо на кукушкины сапожки!..

– Не кричи, – останавливает его Венька. – Кто оправился?

– Ну как кто? Медведь, – говорит Коля, будто обрадованный. И, смеясь, показывает на то место, где останавливался медведь по неотложной надобности. – Уже, глядите, имеет полное расстройство желудка. Ягоды ел. Голубицу…

«Вот он, наверное, ничего не боится! – думаю я про Колю. – Он и кричит и смеется. А я почему-то боюсь. Это, наверно, оттого, что я не выспался. Но ведь и другие не выспались».

– Это еще не расстройство, – с седла внимательно рассматривает

медвежий помет Венька. – Если бы этого медведя легонько рубануть по хвосту прутом, вот тогда бы он правда расстроился. Он на задницу очень хлипкий. От него бежать ни в коем случае нельзя. Словом, нельзя его пугаться…

Я завидую Веньке. Ведь я хорошо видел, что он испугался медвежьего рева. А сейчас он не только подавил в себе испуг, но старается и нас взбодрить. Иначе для чего бы ему говорить о том, что все и так знают: если медведя испугать, у него начинается понос.

– Это уж как закон природы, – улыбается Венька. – Против всякого страха есть еще больший страх.

– А ехать нам далеко? – спрашивает Коля.

– Нет, – говорит Венька. – Сейчас до Желтого ключа доедем, и там уж будет видно заимку. – И поворачивается ко мне: – Ты эти места узнаешь?

– Узнаю, – киваю я, хотя по-прежнему ничего не узнаю.

20

Мне казалось, что силы мои уже на исходе, когда мы подъезжали к Желтому ключу. Я устал от нестерпимой жары, от подпрыгивания на седле и всего больше от изнурительной работы собственного воображения – от поединка с медведем, которого не было.

Желтый ключ веселой тоненькой струйкой выбивается из-под самой горы, но вода в нем не желтая, а кипенно-белая, холодная. Желтый – песок вокруг ключа.

Я набираю воды в пригоршню и пью мелкими глотками, потому что она студит до боли зубы. Потом я умываюсь.

Хорошо бы снять рубашку и намочить холодной водой спину, грудь! Но я не знаю, что еще будет дальше.

Я устал, а работа наша только должна начаться. Должно начаться то, для чего мы выехали из Дударей и вот уже вторые сутки кочуем по этим местам.

Из леса выезжает наш начальник. Затем появляются Иосиф Голубчик, Петя Бегунок и старший милиционер Воробьев. Их лошади взмылены. Видно, что они прошли большой и трудный путь – больше нашего.

Но начальник бодро спрыгивает с коня. Толстые ноги в мягких сапогах с короткими голенищами чуть прогибаются под его увесистым телом и глубоко вминают высокую, сочную траву и рыхлую почву, когда он идет к ручью.

У ручья он долго умывается, поливая круглую, остриженную под бобрик голову холодной водой, потом вытирает лицо и шею носовым платком и, глядя на Веньку покрасневшими, выпуклыми глазами, спрашивает:

– Ну-с?

– Время еще есть, – смотрит на ручные часы Венька. – Всего девятый час. Двадцать минут девятого. Подождем еще минут сорок?

– Подождем.

– Может, закусим? – робко спрашивает Воробьев.

– Можно, – опять соглашается начальник и садится на траву, по-калмыцки подогнув ноги. – Только и делаем, что закусываем да чай пьем, а настоящего дела пока не видать…

– Не наша вина, – по-стариковски кряхтит Воробьев и, оскалив желтые, полусъеденные зубы, развязывает ими туго стянутый узел на

мешке с едой.

Мешок брезентовый, широкий, он растягивается на кольцах и расстилается на небольшой поляне, на волнистой траве, как скатерть.

– Садись, Малышев, – приглашает начальник Веньку, показывая на еду – на хлеб и мясо, которое режет большим складным ножом Воробьев. – И вы, товарищи, садитесь.

– Спасибо, – отказывается Венька. – Я после поем. Я на минутку отойду. – И направляется в сторону большака, невидимого отсюда.

– Я тоже с ним пойду, – вскакивает с травы Иосиф Голубчик. – Разрешите мне, товарищ начальник. Убедительно прошу. Разрешите…

Венька останавливается и обиженно и вопросительно смотрит на начальника.

– Никуда ты не пойдешь, – строго говорит начальник Голубчику. – Садись и сиди. Вот еда, кушай…

Мы все садимся вокруг мешка и, подражая начальнику, подгибаем под себя ноги.

А Венька уходит в заросли боярышника, в сторону большака.

Мне кажется странным, что начальник ест с таким аппетитом. Мне совершенно не хочется есть. Я смотрю, как начальник обкусывает мясистую кость, и думаю: «Интересно, куда же это пошел Венька? И что будет через сорок минут? Венька сказал: „Подождем минут сорок“.

– Ты чего не ешь? – спрашивает меня начальник.

– Я ем, – говорю я.

Беру пучок черемши, обмакиваю ее в соль, отламываю от ломтя кусочек хлеба и запихиваю все это в рот. Есть мне все-таки не хочется.

После еды Петя Бегунок отводит меня от ключа в сторонку и показывает на взгорье, где виднеются избы заимки.

– Вон, видишь, серебряная крыша? Да ты не туда смотришь. Ты смотри вот на эту сосну. Вон, видишь, серебряная крыша? Это изба, в которой Кланька живет.

Из-за ветвей хорошо видно оцинкованную крышу. Она действительно поблескивает сейчас на солнце, как серебряная. Такие крыши – редкость на таежных заимках.

Я смотрю на эту крышу, и мне немножко обидно, что Бегунок показывает мне на нее. Я же вместе с Венькой был под этой крышей. Бегунок, наверное, никогда не видел Кланьку Звягину, а я ее видел, был у нее. Но я молчу.

– В девять часов ровно, – говорит Бегунок, – вот с этой стороны, с правой, должны поднять жердь с паклей. Ровно в девять…

Я обижаюсь не на Бегунка, а на Веньку. Неужели он не мог мне объяснить, как будет проходить операция? Подумаешь, какой секрет, если даже Бегунок его знает! Или Венька мне об этом не говорил потому, что считал, что я сам все уже знаю? А я ничего не знаю.

– Чего это вы смотрите? – подходит к нам Коля Соловьев, все еще прожевывая хлеб.

– Да вот Петя любуется избой Кланьки Звягиной, – смеюсь я, чтобы показать, что это для меня не новость.

– А которая изба? – интересуется Коля. – Вот эта белая, что ли?

Значит, Коля тоже ничего не знает. Тогда я возмущаюсь про себя. До чего же глупо организована операция! Никто ничего не знает. Как же действовать в таких условиях? Все, значит, получается втемную. Даже не сказано, что нам делать, когда над крышей поднимется жердь с паклей. Для чего же нас сюда собрали?

Начальник сидит на траве, спиной привалившись к сосне. Он курит, но глаза у него прищурены. Похоже, он задремывает.

А Веньки все еще нет. Куда же, интересно, он ушел?

На взгорье хлопает выстрел.

– Начинается, – веселеет Бегунок и, ухватив за повод свою лошадку, вкладывает ей в рот удила. Потом легко запрыгивает в седло и, уже сидя в седле, всовывает ноги в стремена.

Иосиф Голубчик и Коля Соловьев тоже бегут к лошадям.

А я смотрю, как начальник, неторопливо опираясь на руку, подымается с травы.

Раздается второй выстрел, третий, четвертый.

Иосиф Голубчик, еще не обратав лошадь, передергивает затвор карабина.

– Спокойно, – говорит начальник, отряхивая травинки, приставшие к брюкам. – Спокойно! Ничего покамест не случилось… – Он подходит к своей лошади и закидывает повод на конскую шею. Все делает он неторопливо, как бы с ленцой.

– Жердь! – кричит не склонный к спокойствию Бегунок. И показывает плетью с седла. – Жердь, смотрите-ка, подняли!

– Ну, слава тебе господи! – вздыхает Воробьев. Он, пожалуй, даже перекрестился бы, если бы руки не были заняты мешком и карабином и если бы не стеснялся осенить себя крестным знамением в присутствии партийного начальства.

На взгорье громыхают телеги, лают собаки. Слышно даже, как гремят цепи и взвизгивает проволока, по которой скользят кольца от цепей,

удерживающих собак-волкодавов. А человеческих голосов не слышно.

Из зарослей боярышника выходит Венька.

– Взяли, – говорит он.

Но лицо у него не веселое, а скорее печальное. И весь он какой-то измятый, не такой, каким мы видели его еще меньше часа назад.

– Ну, слава богу! – опять вздыхает Воробьев.

Венька подходит к начальнику, недолго разговаривает с ним, потом не запрыгивает, а устало залезает в седло. Вялый он, медлительный. И кепка надета уже как следует, козырьком вперед.

А начальник становится вдруг необыкновенно быстрым в движениях, натягивает повод, бьет лошадь по брюху толстыми ногами в стременах и кричит:

– Внимание! Выезжаем на большак! Голубчик, особо учти: без моей команды ни во что ни в коем случае не соваться!..

Мы выезжаем на большак и поднимаемся на взгорье, окутываясь горячей, удушливой пылью.

Навстречу нам громыхает телега, в которую запряжена мохнатая лошаденка, точно такая, на какой разъезжает старший милиционер Воробьев. На телеге сидят, свесив ноги, два мужика, а между ними лежит, распластавшись, третий, с окровавленной бородой.

– Убили? – спрашивает Веньку начальник, глядя на бородатого.

– Да нет, это не Воронцов, – отвечает Венька. – Это Савелий Боков. Оказал сопротивление. Ничего нельзя было сделать. И Кологривова сильно ранили. Наверно, умрет…

– Ну и пес с ним! – говорит Воробьев. – Прости меня господи. Ведь как озорует, как озорует! Даже в царское время не было такого озорства…

Я смотрю на проезжающую мимо телегу, на мертвого Савелия Бокова. Вот, значит, какой он, этот Савелий, именем которого мы зимой вошли в избу Кланьки Звягиной.

– Бывший прапорщик, – смотрит на него Воробьев. – Я с ним в одном полку служил в германскую импери…алистическую. – И кричит мужикам, сидящим на телеге: – Там внизу остановитесь! Я потом к вам подъеду. – И опять вздыхает, провожая взглядом телегу. – Тоже вполне порядочные бандиты эти мужики, не гляди, что сейчас тихие. Я их обоих знаю. Братья Спеховы. У них и отец бандит, хотя и старичок…

Странно все это. Бандиты везут на телеге убитого бандита и подчиняются распоряжению старшего милиционера Воробьева.

Я оглянулся. Они действительно остановились внизу.

На взгорье я наконец все вспомнил. Вот мимо этого забора мы

проходили на лыжах зимой. За забором лаяли и гремели цепями собаки. Они и сейчас лают.

Мы проезжаем дальше. И вот уже виден весь дом Кланьки Звягиной. Мы въезжаем в распахнутые ворота.

Во дворе на телеге со связанными за спиной руками молча лежит босой, в разорванной шелковой рубахе красивый молодой мужчина с русой, аккуратно подстриженной бородой. Он жадно дышит раскрытым ртом, и широкая, сильная грудь его, чуть поросшая рыжим волосом, нервно вздрагивает.

На груди фиолетовой тушью наколота надпись: «Смерть коммунистам».

– Гляди, чего написал, – читает надпись Воробьев. И спрашивает: – Ты каким же местом думал-то, бандитская морда, когда эти слова писал? – И, послюнив палец, трогает надпись. – Это же вечное тебе будет клеймо. С этими словами и помрешь…

Бандит не удостаивает Воробьева даже взглядом. Он не мигая смотрит в голубое, нежно-голубое небо. На небе ни облачка.

В глубине двора, у высокой колоды, привязаны крупные сытые лошади. Они спокойно хрумкают овес и поблескивают крутыми, лоснящимися задами. На этих лошадях приехали бандиты из глубокой тайги. На них они и уехали бы, если бы не случилось всего, что случилось.

– А этого куда? – спрашивает Бегунок, выходя из избы и показывая в распахнутые двери на бандита, лежащего в сенях на соломе.

– Кончился он?

– Кончился.

– Кладите их рядом, – приказывает Воробьев.

– Но этот же мертвый, а этот живой, – вмешивается Коля Соловьев, подходя к телеге.

– Ничего, – говорит Воробьев, – кладите их рядом. Они дружки. Им обоим одна дорога.

На крыльце появляется наш начальник. Он уже обошел весь двор, побывал в избе и вышел вспотевший, сердитый.

– Ты тут глупостей не устраивай, – выкатывает он глаза на Воробьева. – Ты представитель чего? Ты представитель власти. Значит, что? – Воробьев испуганно и почтительно вытягивается. – Значит, глупостей творить не нужно. Живой пусть так и остается, как живой. А мертвого надо на другую телегу.

Начальник отдает еще какие-то распоряжения Веньке и, взобравшись в седло, выезжает из ворот в сопровождении Пети Бегунка.

Мы остаемся во дворе без начальника. Нас остается всего пять человек: Венька Малышев, Иосиф Голубчик, Коля Соловьев, старший милиционер и я. А незнакомых во дворе становится все больше.

Мне еще непонятно, кто тут бандиты и кто просто жители этой заимки. И вообще непонятно, как это все произошло, кто связал «императора всея тайги», кто убил Савелия Бокова и кто смертельно ранил Кологривова. Многое еще непонятно.

В избе, в полутьме от задернутых на окнах занавесок, я не сразу узнал Лазаря Баукина. Он сидел у стены за столом, все еще уставленным бутылками, стаканами, тарелками с оставшейся едой, и негромко разговаривал с Венькой. Похоже, о чем-то договаривался.

Тут же у печки на табуретке сидела, как мне показалось, немолодая женщина в темном платке, по-монашески повязанном. Она вставила в разговор мужчин какие-то слова, но Лазарь грубо ее оборвал:

– Ты, Клавдея, помолчи. Тебе самая пора помолчать сейчас…

Как же это я не узнал Кланьку? Будто тяжелая болезнь изменила ее. И она не показалась мне теперь такой красивой, как тогда, зимой. Даже странно, что я готов был жениться на ней в ту метельную, суматошную ночь.

Я услышал, как Лазарь сказал:

– Ты, Веньямин, ни об чем не тревожься. Как ты поступаешь, так и мы поступаем. Уговор дороже денег. Мы проводим вас до самого места. И я сам в Дудари явлюсь. Будет нужно меня судить, пускай судют. Я весь наруже. Был в банде, товарищи мои бандиты на меня не обижались. И ты не обижайся, что я тебя тогда подстрелил в Золотой Пади…

– Об этом незачем теперь говорить, – отодвинул от себя пустую бутылку и стакан Венька и облокотился на стол. – Надо думать, Лазарь Евтихьевич, как дальше жить…

Наверно, всякого бы удивило, что они так, сравнительно спокойно, ведут какой-то разговор, когда в сенях на соломе все еще лежит мертвый Кологривов, а во дворе на телеге ворочается связанный Костя Воронцов и вокруг него толпятся неизвестные люди.

– Туман. Во всем туман. Во всей жизни нашей туман, – сказал Лазарь Баукин и стал вылезать из-за стола так, что загремела посуда на столе. Но уж если дело сделано, об том тужить не надо. Все равно какой-то конец должен быть… – Он увидел на полу смятую фуражку-капитанку с блестящим козырьком, наклонился, поднял. – Это чей картуз?

– Это… этого, – затруднилась с ответом Кланька.

– Кологривова, что ли?

– Да что вы, ей-богу, разве не знаете, чья это фуражка? – будто обиделась Кланька. – Это ж Константина Иваныча фуражка…

– Отнеси ему ее.

– Нет, уж вы сами относите. Сами вязали его, сами и относите…

– А ты что, невеста, жалеешь жениха?

– Никого я не жалею, надоели, осточертели вы мне все! – отвернулась Кланька и пошла в сени. – Вон как ухалюзили избу! Нахлестали кровищи, все забрызгали. Кто это будет замывать?

Мне подумалось, что Кланька словами этими, вспышкой мелочной ярости и хозяйственной озабоченностью и суетой хочет спрятать что-то в душе своей, старается не показать, что она чувствует сейчас. А ведь, наверно, она что-то чувствует. Ведь не корова же она.

Я вспомнил, что вот на этой печке зимой всю ночь стонал и кряхтел старик. Я спросил у Кланьки, где он. Она сделала любезное лицо и как будто даже улыбнулась.

– Крестный-то? Помер он. Зимой еще помер. Здравствуйте! А я и не признала вас второпях… Еще раз здравствуйте…

И ни тени огорчения не было на ее припухшем лице.

– Отнеси ему, Клавдея, картуз, тебе или кому говорят? – опять зачем-то приказал Лазарь. – И сапоги эти отнеси. Это его? – кивнул он на фасонистые коричневые сапоги.

– Да чего вы ко мне пристали! – отмахнулась она. И заискивающе заглянула в глаза Веньке. – Чего он ко мне пристал, товарищ начальник? Я-то тут при чем?

– Вот гляди, Веньямин, какие бабы бывают, – показал на нее Лазарь Баукин. – Пока Костя царствовал, она юлила вокруг него. Даже плакала, что Лушка его, видишь ли, завлекает. А сейчас… Вот гляди…

Но Венька молчал. Он как будто стеснялся этой женщины и старался не смотреть на нее.

И только когда мы выехали из ворот, он оглянулся на окна ее дома под серебряной крышей и сказал:

– Да, бывает по-всякому.

21

Даже на большаке, когда мы далеко отъехали от Безымянной заимки, было слышно, как протяжно и грозно ревут медведи, справляя свои свирепые свадьбы в глубине тайги. Но теперь, наверно, никого уже не пугал и не тревожил этот рев.

Только, может быть, я один представлял себе, как самцы сейчас встают на дыбы, как рвут друг друга когтистыми сильными лапами, как летит с них клочьями линялая шерсть. А где-то в стороне сопит, стоя на четвереньках и поглядывая на них, красивая медведица, которая достанется победителю, которая будет любить победителя – того, кто окажется сильнее, крепче.

Венька ехал рядом со мной, но все время молчал, задумавшись о чем-то. Лицо у него опять почернело, как тогда, после ранения.

Чтобы немножко взбодрить его, я сказал:

– Все-таки ты здорово это организовал…

– Что организовал?

– Ну, всю эту операцию. Никто ведь не думал, что вот так запросто к нам попадется в руки сам «император всея тайги». По-моему, даже начальник в это дело не сильно верил. Если бы не ты…

– Да будет тебе ерунду-то собирать! – поморщился Венька. – Это и без меня бы сделали. Это все Лазарь Баукин сделал. Это мужик, знаешь, с какой головой!

– Ну, это ты можешь кому-нибудь рассказывать, – перебил я его. – А я сейчас многое понимаю…

– Ничего ты не понимаешь, – сказал Венька. – И давай не будем про это…

Говорили потом, что Венька ловко сагитировал этого упрямого, звероватого Лазаря Баукина и других подобных Баукину мужиков. Но это не совсем так. Мужиков этих мало было сагитировать. Мужики эти, рожденные и выросшие в дремучих сибирских лесах, могли быстро забыть всякую агитацию, могли еще много раз свихнуться, если бы Венька, презирая опасность, неотступно не ходил за ними по опасным таежным тропам, не следил за каждым их движением, не напоминал им о себе и о том, что замыслили они по доброму сговору сделать вместе с ним.

Он покорил этих неробких мужиков не только силой своих убеждений, выраженных в точных, сердечных словах, а именно храбростью, с какой он

всякий раз готов был отстаивать свои убеждения среди тех, кто доблестью считал накалывать на груди, как у атамана, несмываемую надпись: «Смерть коммунистам».

А Венька представлял здесь коммунистов.

Он, конечно, хитрил, – и еще как хитрил! – действуя, однако, во имя правды.

Нет, он не напрасно прожил всю весну и часть лета среди топких болот, в душном комарином звоне Воеводского угла.

Он добился крупной удачи, самой крупной из всех, какие были у нас за все это время. Но удача теперь будто не радовала его.

Он сидел в седле по-прежнему вялый и какой-то безучастный, с почерневшим то ли от загара и ветра, то ли еще от чего лицом.

Дорога шла сначала через густой, однотонно шумевший лес, изгибаясь вокруг широкоступных деревьев, потом пошла напрямик, через мелкий кустарник, по кочкам, и скоро вышла на пыльный, горячий тракт, поросший по бокам отцветшим багульником.

Воронцову было неудобно лежать на спине, на связанных за спиной руках, под палящим солнцем. Но он так долго лежал без движения, будто умер или впал в беспамятство. Только крупные капли пота, выступавшие на лбу и заливавшие глаза, показывали, что он жив.

Наконец он грузно пошевелился, как медведь, лег на бок и вдруг громко и почти весело проговорил:

– Эх, кваску бы сейчас испить! Холодного. Хлебного. С изюмом!

И со стоном вздохнул, опять перекинувшись на спину.

Все промолчали. Только Семен Воробьев, ехавший рядом с телегой, тоже вздохнув, сказал:

– Нет, видно, отпил ты свой квас, Констинктин. Не будет, видно, тебе больше ни квасу, ни первачку. Отошла коту, как говорится, масленица, настал великий пост…

Воронцов покосился на него крупным, лошадиным глазом.

– Эх, попался бы ты мне, папаша! – сказал он задумчиво. – Я бы из тебя сделал… барабан!

– Знаю, – усмехнулся Воробьев. – Знаю это все, прекрасно знаю. Да, видно, неспроста не дал бог свинье рог. Для того и не дал, чтобы она лишнее не озоровала…

Венька Малышев встрепенулся, поднял голову, подъехал к телеге и велел прекратить разговоры.

– Для чего ты пристаешь к нему? – спросил он Воробьева.

– А для чего он сам меня затрагивает? – почти по-детски обиделся

Воробьев. – Я ему все-таки не мальчик. И я ему ничего не говорю. Я ему только говорю, поскольку он пострадал из-за бабы, пускай в таком случае помалкивает…

– И ты помалкивай, – строго посоветовал Венька Воробьеву. И, поглядев на Лазаря Баукина, кивнул на Воронцова: – Надо бы его, пожалуй, развязать?

Лазарь, возвышавшийся на игреневом белоногом жеребчике, пожал плечами: дело, мол, ваше, вы начальство, глядите, как будет лучше, а мне все равно.

– Уйдет! – зашипел, зашептал Воробьев. – Шуточное ли это дело развязать! Уйдет, в одночасье уйдет! И тут же всегда, – он оглянулся на разросшийся по сторонам тракта и колеблемый легким ветром кустарник, – тут же всегда нас могут встретить его компаньоны. Они уж и сейчас, наверно, про все прослышали. У него ведь банда-то какая! И все на лошадях…

– Развязать! – приказал Венька.

Мужик, сидевший на передке телеги, опасливо оглянулся на Воронцова.

– Ну-к что же, давай-ка я развяжу тебя, Константин Иваныч. Велят, стало быть, надо развязать.

Однако он не смог развязать туго стянутые ременные узлы.

Венька строго взглянул на Воробьева:

– Ножик!

Воробьев отогнул полу форменной гимнастерки, покорно вынул из кармана брюк свой большой, остро наточенный складной нож, которым резал на привалах хлеб и мясо. Но сам не взялся разрезать ремни, протянул нож Веньке.

Венька, наклонившись с седла и ухватившись одной рукой за передок телеги, быстро, тремя ударами, рассек знаменитые ремни-ушивки, которыми связывали бандиты своих пленников и которые пригодились теперь для того, чтобы связать бандитского главаря.

Воронцов негромко, болезненно закряхтел. Должно быть, у него сильно затекли руки. Потом потянулся, сгреб под себя солому и сено, сел. Надел фуражку, лежавшую в телеге. Натянул козырек на глаза. И, взглянув из-под козырька на Веньку, спросил:

– Это ты и есть Малышев?

Венька не ответил.

– Ловок. Ничего не скажешь, ловок, – спокойно, внимательно оглядел его Воронцов. – Давно я про тебя слышу, что есть такой Малышев. Еще с

зимы слышу. Все хотел тебя повидать. Посылал даже людей за тобой; Шибко хотелось встретиться…

Венька опять ничего не ответил.

– Ну вот и встретились, – усмехнулся Воронцов. И посмотрел по сторонам. – Курить хочу.

Лазарь Баукин, сидя в седле, вынул кисет, аккуратно свернул из клочка газеты большую цигарку и, не заклеивая ее своей слюной, протянул с седла Воронцову.

Воронцов высунул кончик языка, заклеил цигарку и взял в зубы.

Лазарь же высек для него огонь на трут и поднес прикурить.

– Эх, Лазарь, Лазарь! – выпустил дым Воронцов и покачал головой. Продажная все-таки твоя шкура! Не думал я, что она такая, до такой степени продажная…

– Не продажней твоей, – зло прищурился Лазарь. – На чей счет живешь, тому и песни поешь… «Император»! «Император всея тайги»! Кто тебя ставил тайгой править? Пес ты, а не император, кулацкий пес! Для запугивания тебя кулаки поставили. Для запугивания людей. И для заморачивания голов…

Воронцов с любопытством посмотрел на него, даже фуражку приподнял над глазами.

– Не худо, – как бы похвалил он его взглядом. – Не худо говоришь. Не хуже комиссаров, которые болтают на сходках. Быстро они тебя обучили…

Лазарь сдвинул самодельную кепку с затылка на лоб. Видно, его задели слова атамана. Он заметно смутился.

– Никто меня не обучал. У меня и свой умок есть. Я своими глазами вижу, чего вокруг делается. Не слепой. Народ хлебопашествует, смолокурничает, работает. А мы с тобой, Константин Иваныч, вроде игру придумали со стрельбой. Народ от дела отбиваем. Губим народ. А для чего? Для какой цели жизни?

– Для какой цели жизни? – переспросил Воронцов и поудобнее уселся на телеге, свесив ноги. – Ты эту цель жизни хорошо понимал, покуда тебя комиссары не словили. Покуда ты не снюхался с комиссарами. Я это сразу почуял, что ты снюхался. Не хотел я тебя допускать к делам, когда ты явился будто с побега из Дударей. Ни за что не хотел. Это вот Савелий все время подсудыркивал. – Воронцов показал глазами на телегу с мертвым. – Он все время уговаривал меня. Допусти, мол, Лазаря Баукина. Он, мол, не вредный, честный, давно воюет. Мухи сейчас за эту доверчивость и едят Савелия. Видишь, как бороду облепили…

– И тебя еще облепят мухи, – сказал Лазарь и, вытянув руку, ударил

жеребчика рукояткой плети по голове, чтобы он не тянулся к пахучему сену на телеге Воронцова.

– И меня, может, еще облепят мухи, – понурился Воронцов. И тотчас же вскинул голову. – Но ты не радуйся, Лазарь, в комиссары ты все равно не пройдешь. Ты расстегни-ка рубаху, покажи, что у тебя на грудях наколото. У тебя же наколоты те же самые слова, как у меня. Не простят тебе этих слов комиссары. Не простят, помяни мое слово.

– Буду смывать эти слова.

– Чем же? Моей кровушкой надеешься смыть?

– Хоть твоей, хоть своей, но смывать надо. Уж какой-то конец должен быть. Утомился я достаточно от этой игры со стрельбой. Пускай любой конец…

Воронцов пошарил рукой в телеге позади себя. Нащупал в соломе сапоги. В сапогах же оказались и портянки. Натянул один сапог, уперся подошвой в перекладину телеги, оправил голенище, стал натягивать второй. И, натянув до половины, спросил Лазаря:

– Что же ты раньше-то не уходил, если говоришь, утомился? Шел бы к бабе своей в Шумилово. Ей, говорят, комиссары коня выдали на бедность…

– А ты что, тревожить бы меня не стал, ежели б я ушел? – опять зло прищурился Лазарь.

– Не знаю уж, как бы я с тобой распорядился, – наконец натянул и второй сапог Воронцов. – Не знаю…

– А я знаю, в точности знаю, – сказал Лазарь. – Я своими глазами видел, как ты сам срубил Ваську Дементьева, когда он хотел навсегда уйти к своей избе на заимку. Вот этой штукой ты его срубил. – Лазарь вытащил из загашника и показал длинный вороненый пистолет, еще часа два назад принадлежавший Воронцову. – Нет уж, ежли рвать, Константин Иваныч, так уж с самым корнем, чтоб и памяти не было. И лишнего шуму…

Лазарь то отъезжал от Воронцова, то опять подъезжал к нему.

Всю дорогу они вели, с перерывами, не очень громкий, даже не очень сердитый разговор. И к этому разговору настороженно прислушивались почти все, кто сидел на телегах и ехал верхом.

Здесь были люди, еще вчера, еще сегодня служившие Воронцову, еще сегодня боявшиеся его, но сейчас во всем подчинившие себя Лазарю Баукину. Он изредка оглядывал их, будто проверяя, все ли они на своих местах, с некоторыми коротко переговаривался. И держался в седле так, как подобает держаться человеку, несущему ответственность за всю эту процессию. Под ним сдержанно танцевал игреневый, белоногий жеребчик, принадлежавший «императору всея тайги». Ничего, однако, царственного

не было в этой резвой, крутобокой лошадке. Только на седле был раскинут и притянут желтыми ремнями красивый бархатистый ковер с длинными кистями.

Мы с Венькой Малышевым ехали недалеко от телеги, на которой то сидел, то лежал Воронцов. Лежал спокойно, подложив руки под затылок и заслонив глаза от солнца лакированным козырьком фуражки-капитанки. Видно было, он примирился со своей участью. Ни волнения, ни скорби не было заметно на его широком белом лице, обрамленном светлой бородой.

Такое лицо могло быть у богатого купца, у содержателя большого постоялого двора, даже у молодого священника.

Такое лицо было у атамана одной из самых крупных банд, отличавшейся особой свирепостью.

Лазарь предложил ему еще раз закурить, но он отказался:

– Труху куришь. Комиссары могли бы тебе папиросы выдать. Дешево они тебя ставят! Очень дешево…

Я не расслышал, как отозвался Лазарь на эти слова, потому что мое внимание отвлек Венька.

– Интересно, – сказал он, – что мне теперь ответит Юля. По-настоящему, она должна бы написать мне.

Веньку уже не интересовал Воронцов и его разговор с Лазарем Баукиным. Для Веньки в эту минуту Воронцов уже был, как говорится, пройденным этапом.

Я вспомнил, как он загадывал еще ранней весной: «Вот поймаем „императора“ – и наладим все свои личные дела. Что мы, хуже других?»

Я вспомнил душную, предгрозовую ночь накануне этой поездки, когда Венька писал свое первое в жизни любовное письмо. Потом, мне казалось, он забыл о нем, занятый всем хитросплетением этой сложной операции, прошедшей, однако, незаметно для нас.

Я, например, так и не понял, как это случилось в подробностях, что Баукин, которому не доверял Воронцов, все-таки оказался на Безымянной заимке и сумел повязать «императора» с помощью его же телохранителей. Впрочем, двое из приближенных были уничтожены. Остальных же Баукин заставил покорно сопровождать «императора», может быть, в последний путь.

Мне все это представлялось удивительным в те часы, когда мы ехали по тракту, возвращаясь в Дудари.

А Венька, кажется, ничему не удивлялся. Он теперь говорил только о том, ответит ли, Юля Мальцева на его письмо и что именно ответит.

Он теперь не выглядел таким уверенным, боевитым, неутомимым,

каким я видел его в эти дни и сутки перед самой операцией и во время операции, когда он цепко удерживал в своих руках тонкие и трепетные нити этого опасного и неожиданного дела, организованного им.

В эти дни он почти не разговаривал со мной по-приятельски, не советовался и даже что-то, как мне думается, скрывал от меня.

А сейчас он вдруг сник, будто опять заболел, и, похоже, спрашивал моего совета, говоря:

– Просто не знаю, что делать, если она мне не ответит. Это будет уж совсем ерунда. Я ей написал, думал, что она ответит…

И в выражении его глаз было что-то тоскливое. Он как будто разговаривал сам с собой:

– Я чего-то лишнее ей написал. Можно было подумать и написать получше, если бы было время. Но все равно, я считаю, она должна мне ответить. Если она мне ответила, то письмо, наверное, уже пришло. Конечно, пришло…

После этих его слов, произнесенных на редкость растерянным голосом, мне почему-то стало казаться, что письмо это еще не пришло и, может быть, никогда не придет.

Мне стало жалко Веньку. Но я ничего не сказал.

У нас была нормальная мужская дружба, лишенная сентиментальности, излишней откровенности и холуйского лицемерия.

Вероятно, если бы я попал в беду, Венька бы не решился вслух жалеть меня или успокаивать.

У каждого есть свое представление о силе своей. И каждый поднимает столько, сколько может и хочет поднять.

Вмешиваться в сугубо личные дела, уговаривать, предсказывать, жалеть это значит, мне думалось, не уважать товарища, считать его слабее себя.

Поэтому я промолчал.

И момент для разговора был уже неподходящий.

В лесу с двух сторон тракта вдруг одновременно затрещали ветки кустарника, зафыркали лошади и зазвучали голоса.

Воронцов поднял голову, потом приподнялся на локтях.

– Ляг, – сказал ему Лазарь.

Но Воронцов не лег, а присел и улыбнулся.

Лазарь взмахнул над ним плетью.

– Ложись, я тебе говорю!

И мужик, сидевший в передке телеги, опасливо оглянулся на Воронцова. Потом тихонько потянул его за могучие плечи:

– Ложись, Константин Иваныч. А то опять свяжем. Нам недолго. Для чего ты сам себя конфузишь?

Воронцов мельком взглянул на него, будто вспоминая, где он еще раньше видел его. И, должно быть не вспомнив, отвернулся.

Ветки в лесу трещали все сильнее, все ближе к нам.

Венька побледнел. Я видел, как бледность проступила на его коричневом от загара лице, и я, наверно, побледнел тоже.

Мне подумалось, что это бандиты пробираются по лесу на выручку Воронцову. Но из леса на тракт с двух сторон выехали конные милиционеры.

Их было много. Новенькая, недавно выданная форма – синие фуражки с кантами, синие гимнастерки с блестящими пуговицами – красиво и неожиданно выделялась на фоне пыльного тракта и пыльных придорожных кустов.

Воронцов лег. Потом опять сел и засмеялся ненатуральным, болезненным смехом.

– А все-таки, Лазарь, не шибко тебе верят комиссары! Продать меня доверили, а охранять не доверяют. Нет, не доверяют. Милицию вызвали. Боятся: а вдруг ты меня отпустишь? Вдруг я уйду…

На тракт выехал наш начальник. Он уже успел переодеться в Дударях в новую милицейскую форму, сменил коня и, величественно-грозный, неузнаваемый, приближался к нашей группе, похлопывая по взмыленным конским бокам короткими толстыми ногами в стременах.

Венька, конечно, заметил начальника, но сделал вид, что не замечает, и, проехав чуть вперед, заговорил о чем-то с Лазарем, склонившись к его плечу.

Оба они потом посмотрели на начальника и, как мне показалось, презрительно улыбнулись.

Начальник сам подъехал к Веньке и спросил, о чем он разговаривал с Лазарем. Видно, улыбка Веньки не понравилась начальнику.

– Ни о чем я с ним не разговаривал, – ответил Венька. – Просто я извинился перед ним за этот хоровод…

– Какой хоровод? Ты что, милицию считаешь хороводом?

– Я считаю, – твердо, и дерзко, и довольно громко сказал Венька, – что милиции не было, когда брали Воронцова. Люди сами, без нас, это все сделали, вот эти люди. По своему убеждению. И не надо было сейчас им показывать, что мы им не доверяем, когда все дело уже сделано. Можно подумать, что мы какие-то трусы и боимся, что Воронцов убежит. Я бы на вашем месте…

– Вот когда ты будешь на моем месте, тогда и будешь учить, – остроумно перебил его начальник. – А пока я еще, Малышев, числюсь начальником, а ты много на себя берешь. Больше, чем надо, берешь. Не пожалеть бы тебе об этом!..

– Все равно, – упрямо сказал Венька, все больше бледнея от обиды и злости, – все равно я на вашем месте хотя бы извинился. Вот хотя бы перед Баукиным…

– Буду я извиняться перед всякой… перед всякой сволочью! – выкатил нежно-голубые глаза начальник и, тронув Лазаря Баукина за плечо, велел ему проехать вперед. – И вы проезжайте вперед, – приказал он другим всадникам из группы Баукина.

Я увидел, как, проехав вперед, Баукин и его товарищи оказались в окружении конных милиционеров.

У Баукина за спиной все еще висел обрез, в руке была плетка, но он уже выглядел арестованным.

Мое сердце тронула обида, может, самая горькая из всех, какие я испытывал в ту пору. Мне показалось нестерпимо обидным и оскорбительным, что Костя Воронцов, ненавидимый нами, выходит, был прав, когда говорил Лазарю Баукину, что комиссары ему, Баукину, не доверяют, что они его дешево ставят.

Но ведь это неправда. Не один наш начальник представляет Советскую власть, которую Воронцов называл комиссарами.

Однако мы сделать ничего не могли против несправедливости начальника. Он был величествен и непреклонен в этот момент. Он был похож, наверно, на Петра Великого во время Полтавской битвы. И усики его топорщились. Но ведь битва-то уже кончилась. И не наш начальник ее провел.

Венька же как будто успокоился и спросил начальника:

– Разрешите, я тоже проеду вперед? Я вам сейчас не нужен?

– Не нужен, – сердито сказал начальник.

Я поехал за Венькой. Мы поравнялись с Баукиным и поехали рядом.

Баукин был мрачен и все время молчал. Потом звероватое лицо его вдруг осветилось улыбкой, и он сказал нам:

– Вы, ребята, поехали бы как-нибудь отдельно. А то неловко выходит. Вы не в форме. Могут подумать, что вы, как и мы… одним словом… арестованные…

– Пусть подумают, – засмеялся Венька.

И это он в последний раз засмеялся.

22

В Дударях мы с Венькой проехали прямо в конюшни конного резерва милиции, что стоял тогда на окраине города, в слободке, сдали лошадей и не спеша, отдыхая, прогулочным шагом пошли в наше управление, подле которого уже толпился народ, услышавший о поимке неуловимого Воронцова.

Всем это казалось невероятным. Уж сколько раз даже в губернской газете объявляли, что он пойман, а потом оказывалось, что это только слухи. И вот наконец он в самом деле взят и посажен в каменный сарай во дворе уголовного розыска.

А рядом с сараем, с тыловой его стороны, выходящей в Богоявленский переулок, на деревянном помосте лежат для всеобщего обозрения мертвые соучастники Воронцова – Савелий Боков и Гавриил Кологривов. Вечером их увезут в мертвецкую при больнице, в тот погреб под железной вывеской с твердым знаком: «Для усопшихъ».

Остальные бандиты, взятые вместе с Воронцовым, заключены в обычном арестном помещении при уголовном розыске.

Вечером же их переведут в городской домзак, как теперь называется тюрьма в Дударях.

Все эти сведения мы с Венькой почерпнули из разговоров в толпе, пока пробивались в уголовный розыск.

Пробиться было не так-то легко: народу все прибывало, как воды в половодье.

В дежурке мы увидели Якова Узелкова. Он уже успел поговорить с начальником и теперь хотел, чтобы его допустили взять интервью у Воронцова.

– Начальник мне рекомендовал обратиться к тебе, – остановил он и даже охватил руками Веньку. – Начальник так и сказал: «Обратитесь к моему помощнику Малышеву». Меня больше всего интересует разговор с Воронцовым. Это же необыкновенная сенсация! Говорят, тут какая-то романтическая история. Замешана какая-то Грунька или Кланька. Жаль, что ее не привезли! Словом, как говорили древние, шерше ля фам. Ты должен дать мне разрешение. Я все это опишу…

– Иди ты! – вдруг обозлился Венька и вырвался из рук Узелкова.

– Вениамин! – проникновенно сказал Узелков. – Умоляю тебя, во имя всего святого, разреши мне хотя бы пять минут поговорить с Воронцовым!

Я умоляю тебя от имени тысяч читателей! И кроме того, я полагаю, что именно сейчас ты должен быть добрее. Начальник мне, между прочим, сообщил, что он тебя представит к награде…

Венька сузил глаза.

– Возьмите с начальником себе эту награду. Она вам, может, больше пригодится…

И мы зашли в секретно-оперативную часть.

Я сказал Веньке, что так, пожалуй, не надо было бы говорить о начальнике, тем более в присутствии Узелкова. Он ведь сейчас же все передаст.

– А мне все равно, – сказал Венька. – Я все равно больше не буду работать в Дударях. Меня вызывают в губрозыск, вот я и уеду. Раньше не хотел уезжать, а сейчас твердо решил: еду, если такое отношение…

Он вытаскивал из ящиков стола бумаги, быстро прочитывал и откладывал в сторону или сразу разрывал и выбрасывал в корзину, стоявшую под столом. Было похоже, что он в самом деле собирается сейчас же уезжать из Дударей и хочет перед отъездом навести порядок.

В дверь постучали. Вошел Коля Соловьев и тоже сказал, что начальник собирается представить Веньку к награде. И не только Веньку, но всю группу сотрудников, участвовавших в операции.

– В какой операции? – спросил Венька.

– Ну, в этой вот, в какой мы сейчас были, – чуть смутился Коля.

– А где Лазарь Баукин?

– Начальник приказал его временно задержать, для проверки, – сказал Коля. – И этих, которые с ним, тоже. «Потом, говорит, разберемся. Может, удастся их подвести под амнистию…»

– И ты считаешь, это правильно?

– Что правильно?

– Что нас с тобой представить к награде, а Лазаря посадить для проверки. Для какой проверки?

– Но начальник же говорит, что будем потом хлопотать за него и за других, – опять смутился Коля. – Ты же все-таки помощник начальника, ты же лучше меня знаешь, какой должен быть порядок.

– Порядок должен быть такой, чтобы людей уважали, когда они стараются стать людьми, – сказал Венька. – Сначала оскорбить, а потом хлопотать! Кому нужны такие хлопоты!

– Ты погоди, погоди, – взял Веньку за руку Коля Соловьев. – Мы же не имеем права его сейчас отпустить. Он же у нас был под арестом и потом убежал. Это же закон не позволяет…

– Закон не позволяет издеваться! – блеснул глазами Венька. – А Лазарь и не просил его отпускать. Он сам хотел, чтобы все было по закону. «Пусть, говорит, судят меня за то, в чем я был виноват». Но можно же все делать по-человечески! Ведь Воронцова-то не мы взяли, а Баукин. За что же нам награда?

– Это верно, – согласился Коля. – Я тоже так сообразил, что тут какая-то неловкость. Можно даже так подумать, что начальник не в силах забыть, как Баукин еще тогда, зимой, обозвал его боровом…

– Ну и что же? Обозвал и обозвал. А потом сделал дело. Мы бы еще сколько ловили Воронцова! Да и вряд ли бы так просто поймали…

Венька вышел из комнаты секретно-оперативной части и пошел по коридору, будто пол качается под ним. Я подумал, что это от усталости, оттого, что он долго не спал.

В дежурке он спросил, не было ли ему письма.

– Что-то было, – сказал дежурный и посмотрел в толстую книгу. – Нет, заказных не было, – захлопнул он книгу. – Может, простые были. Надо спросить Витю…

У Веньки дрогнули губы. Он хотел что-то сказать и не сказал. Может, он хотел обругать дежурного?

Пришел делопроизводитель Витя, отомкнул ящик своего стола, долго рылся в нем, потом развел руками.

– Ничего нету.

– Может, нам домой письмо прислали, – предположил я. – Могли прислать на домашний адрес…

– Могли, – как эхо, отозвался Венька.

И мы пошли домой, потому что дел на сегодня не было, да и едва ли мы сумели бы сегодня еще работать, голодные и усталые. Начальник тоже уехал домой обедать.

Дома, однако, не было письма. И хозяйки нашей не было. Она уехала по ягоды, как сказала нам соседка. И никакой еды не оставила.

– Пойдем к Долгушину, – позвал я.

– Пойдем, – согласился Венька как-то уныло, безучастно.

– А может, ты сильно устал? Может, ты не хочешь идти?

– Нет, пойдем. Все равно, – сказал он. И опять меня слегка встревожил его унылый вид.

Был уже вечер, когда мы переходили через базар, чтобы коротким путем пройти в городской сад.

На базаре никого не было. Все ларьки и лавки давно закрылись. И только у одного навеса стояли ночной сторож и молодой человек с

валенками в руках.

Мы узнали Сашу Егорова, паренька с маслозавода.

– Ты не уехал? – удивился Венька, и лицо его вдруг оживилось: это было заметно и в сумерках.

– Нет, я завтра уезжаю.

– А валенки – это для чего в такую жару?

– Хотел продать. Тут один велел мне к нему зайти. Хотел, словом, у меня их купить…

– У тебя что, на билет не хватает? – спросил Венька.

– Нет, на билет у меня хватает. Я просто так хотел продать валенки. Зачем они мне сейчас? Я лучше племянникам гостинцы куплю.

– Ты погоди, – сказал Венька. – Не уезжай. На днях вместе поедем. И гостинцы купим. Я тоже уезжаю.

Венька теперь словно хвастался тем, что уезжает.

Поговорив недолго с Сашей Егоровым, он будто почерпнул в этом разговоре новую надежду и сказал мне, когда мы пошли дальше:

– А вдруг мне все-таки пришло письмо? Ведь почту и вечером подают. Может, зайдем на минутку в управление?

Нам надо было сделать большой крюк по городу, чтобы зайти сейчас в наше управление. И мы сделали этот крюк, прошли по улице Марата, свернули в Ольшевский переулок и вышли прямо к бывшему махоткинскому магазину, где работала кассиршей Юля Мальцева.

На железных дверях магазина под лампочкой в проволочной сетке висел, как всегда в эту пору, огромный ржавый замок. Юля давно уже ушла домой, на свою Кузнечную улицу.

Проще всего, казалось бы, нам с Венькой вместе пойти к ней домой в этот вечер, если он стеснялся идти один. Но он ждал от нее письма, точно она живет в другом городе. Это письмо ему нужно было сейчас, до крайности.

Он просто не мог жить без этого письма.

В дежурке нас опять встретил Узелков. Опять стал приставать к Веньке с просьбой допустить его к Воронцову. Венька сказал, что Воронцов не игрушка, и принялся перебирать свежую пачку писем, только что доставленных с почты и лежавших на столе дежурного.

– Все-таки, Вениамин, ты извини меня, но ты очень жестокий человек! сказал ему Узелков. – Неужели ты не способен понять, что беседа с Воронцовым мне нужна не для игры, а для работы?

– Ничего я теперь не способен понять, – ответил Венька, так и не найдя письма. – Иди к начальнику. Вы с ним, как я замечаю, дружки и все

хорошо понимаете. А я ничего не понимаю.

– Да, теперь я вижу, что ты человек, не обижайся, но я вижу, что ты человек недалекий. – Узелков вынул из портфеля книгу. – Мне сегодня случайно пришлось прочесть вот это твое письмо, и я страшно удивился. Хотя я не охотник читать чужие письма, тем более любовные.

Узелков раскрыл книгу, и из нее выскользнул и полетел на пол конверт с письмом.

Венька быстро наклонился и поднял его.

Я узнал конверт того письма, которое он всю ночь писал перед нашей последней операцией. Как это неприятно, что оно попало в руки Узелкова.

– Ты где его взял? – спросил Венька.

– Не вытаращивай глаза, – насмешливо попросил Узелков. – Я еще не арестованный. И тут нет ничего загадочного. Твое письмо лежало в моей книге «Огонь любви», которую я давал читать Юле Мальцевой. Сегодня она вернула мне мою книгу…

Венька быстро перечитал свое письмо, потом тщательно и спокойно разорвал его и разорванное положил в карман.

В дежурку вошел наш начальник. Он вынул из застекленного ящика, висевшего над головой дежурного, ключ от кабинета и, выходя из дежурки сказал:

– Малышев, зайди ко мне.

Узелков пошел за ними. Но начальник не принял его.

Венька вышел из кабинета минут через пятнадцать вспотевший, взъерошенный и злой.

Я спросил:

– Ну что, не пойдем к Долгушину? Пожалуй, поздно.

– Нет, почему? Пойдем. Куда угодно пойдем, если надо.

По дороге он все время плевался, точно попробовал что-то горькое.

Я ни о чем его не спрашивал.

В окнах здания укома партии и укома комсомола горел свет, когда мы проходили мимо. Даже одно окно на втором этаже было распахнуто. У раскрытого окна сидела завучетом Лида Шушкина и стучала на пишущей машинке, несмотря на поздний час.

Мы остановились под окном. Венька спросил, в укоме ли Зуриков.

– Уехал, – сказала Лида, навалившись грудью на подоконник и высунув стриженную после тифа голову из окна. – Вчера еще уехал насчет двухнедельника по борьбе с самогоноварением. И от вас ведь тоже кто-то поехал…

– А Желобов, не знаешь, сейчас в укоме партии?

– Нет, – замотала головой Лида. – Он тоже уехал. Да вы что хватились-то? – удивилась она. – Все сотрудники ушли уже по домам. Я вот одна сижу. Просто беда, какая запущенность в личных делах!..

Она еще что-то говорила, но ни я, ни Венька не слушали ее. Я смотрел на Веньку. У него было какое-то странное лицо, будто он в самом деле тяжело заболел.

– Ну ладно, – сказал он, словно очнувшись, – пойдем к Долгушину, если ты хочешь… Я не возражаю. Мне все равно.

У Долгушина он слегка успокоился. В передней перед зеркалом аккуратно причесался, подтянул голенища сапог, оправил гимнастерку и вошел в павильон, как всегда входил в общественные места, чуть приподняв голову.

В глубине павильона на деревянном помосте смуглый и длинный, чем-то напоминающий змею молодой человек в черном костюме с белой грудью, размахивая соломенной шляпой-канотье, отбивал чечетку и выкрикивал входившую тогда в моду песенку о цыпленке жареном и цыпленке пареном, который тоже хочет жить. Он трудился добросовестно, этот молодой человек, то подпрыгивая, то приседая и в сидячем положении, на корточках, продолжая отбивать чечетку.

– Умеет, – посмотрел на него Венька, но не улыбнулся.

Долгушин заметил нас, когда мы уже уселись в дальнем углу.

– Ох, какие дорогие гости пожаловали! – подбежал он стариковской рысцой к нашему столику.

– Ужин бы нам, – сказал Венька.

– И пивка позволите?

– И пивка.

Уже накрыв на стол, Долгушин, изогнувшись и заглядывая нам в глаза, спросил:

– Говорят, поймали вы этого самого Воронцова?

– Поймали, – кивнул Венька.

– Говорят, начальник ваш сильно отличился? Говорят, он сам и ловил его и очень отличился? Перестрелка, говорят, была?

– Была, – опять кивнул Венька.

– Вот видите, – округлил глаза Долгушин. – Ну, хорошо. Очень хорошо. И он еще больше изогнулся перед нами: – Интересно, что же вы будете теперь делать с ним? Застрелите, наверно…

– Застрелим, – механически подтвердил Венька.

– Ну, хорошо, – опять сказал Долгушин. – Очень хорошо. А я думал, вы его еще судить будете.

Венька почти не слушал Долгушина. И поэтому я, чтобы не было неясности, кратко объяснил, что мы никого не судим, мы только ловим, а это уж суд решит, что с ним делать, с Воронцовым.

– Суд? – снова округлил глаза Долгушин. – Ну, это хорошо. Очень хорошо.

– Что хорошо? – сердито спросил я.

– Все хорошо, – сказал Долгушин. – Поймали – значит, хорошо. Теперь уже будет полное спокойствие. – И, взмахнув салфеткой позади себя, как лиса хвостом, отошел от стола.

Венька выпил пива сразу два стакана, но котлеты есть не стал, слегка поковырял вилкой и отодвинул тарелку.

Пока я ел, он задумчиво водил ножом по скатерти, вычерчивая незримые фигуры. Потом сжал в кулаке нож, легонько постучал им по столу и сказал:

– А все-таки мне здорово обидно…

– Да уж, Юлька поступила некрасиво, – поддержал я разговор. – Главное, нашла кому показать письмо – Узелкову! Он теперь будет трепаться.

– Ерунда, – сказал Венька и сделал свое обычное отталкивающее движение, будто отметая что-то мелкое, ненужное, наносное. – Не в этом дело. Совсем не в этом. И Юля, я считаю, ни в чем не виновата. Просто мне самому не повезло. Это как моя мама говорила: «Оце тоби, чайка, и плата, що в тебе головка чубата». Я сам, наверно, во всем виноват. Но я по-другому не могу…

– А мать у тебя украинка?

– Украинка.

Голос у него был очень усталый, как у пьяного, хотя он, конечно, не мог захмелеть от двух стаканов пива. Может, у него опять заболело плечо? Ведь так бывает, что рана затянулась, зажила, а внутри еще что-то болит, ноет, и даже в голове мутит. У меня у самого так было после ранения. Я внимательно посмотрел на него и спросил:

– Тебе, Венька, что, нехорошо?

– Конечно, нехорошо, – ответил он и стал наливать пиво в граненые стаканы сначала мне, потом себе. – И для чего я это письмо дурацкое написал? Хотя что ж, хотел написать и написал. Не жалею…

– Можно, – сказал я, отхлебнув пива, – можно как-нибудь сделать, чтобы Узелков не трепался насчет письма. Можно его как-нибудь предупредить…

– Да что мне Узелков! – брезгливо поморщился Венька. – Я сам еще

больше его натрепался. Мне теперь так противно все это дело с Воронцовым, будто я сволочь какая-то, самая последняя сволочь и трепач!

– Но все-таки ты сделал большое дело, Венька. Я считаю, что это ты один все сделал. То есть ты главный закоперщик. И даже, смотри, у начальника заговорила совесть, если он хочет представить тебя к награде. Значит, у него заговорила совесть…

У Веньки по лицу прошла как бы тень улыбки.

– Если б у него была совесть, она бы, может, заговорила. Но у него нету никакой совести. Я это сейчас хорошо понял. Ты знаешь, что он хочет? Он хочет, чтобы мы все это дело оформили так, будто это не Лазарь Баукин повязал Воронцова, а мы повязали и Воронцова, и Баукина, и всех остальных. А ты же сам видел, как мы их вязали?

– Конечно. Я даже удивился…

Венька отпил пива и зажмурился.

– Мне сейчас стыдно перед Лазарем так, что у меня прямо уши горят и все внутри переворачивается! – сказал он. – Выходит, что я трепался перед ними, как… как я не знаю кто! Выходит, что я обманул их! Обманул от имени Советской власти! Какими собачьими глазами я буду теперь на них смотреть? А начальник говорит, что этого требует высшая политика…

– Какая политика?

– Вот я тоже сейчас его спросил, какая это политика, и для чего, и кому она нужна, такая политика, если мы боремся, не жалея сил и даже самой жизни, за правду. За одну только правду! А потом позволяем себе вранье и обман. Он говорит: «Я тебя представлю к награде и всех представлю», – а иначе нас, мол, не за что награждать. А я ему говорю: «Нет, вы лучше выдайте мне другие, хотя бы собачьи глаза, чтобы я мог смотреть и на вас и на все и не стыдиться…» После этого он начал меня ругать по-всячески и даже погрозился посадить, Вроде как за соучастие с бандитами. И лучше бы уж он меня посадил, чем так вот здесь я пиво пью и закусываю. А там, в нашей каталажке, люди, которые мне доверяли и считали, что у меня есть совесть…

Голос у Веньки стал какой-то глухой.

– Ты успокойся, Венька, – попросил я, заметив, что на него поглядывают люди с соседних столиков, – выпей еще пивка. – И я долил ему в стакан и себе долил. – Мы это дело как-нибудь обмозгуем и повернем. Мы все-таки комсомольцы, а не какие-нибудь…

– Вот в этом все дело, что мы не какие-нибудь, – ухватился Венька за мои слова. – А начальник уже всем в городе раззвонил, что мы сделали это дело, что это он сам лично сделал. Он для этого и конную милицию

вызывал на тракт. И Узелкову все рассказал в своих красках. Узелков все это опишет на всю губернию. Нам дадут награды, а Лазаря и других выведут в расход. Пусть Лазарь был бандит, но ведь он же тогда еще не понимал, какая может быть жизнь. Он был еще сырой. А потом он мне лечил плечо брусничным листом, спал со мной под одним тулупом, укрывал меня от холода и от всего и говорил, что я первый настоящий коммунист, которого он встретил в своей жизни. Хотя я еще и не состою в партии…

У Веньки выступили слезы. Он задрожал всем телом. Я опять сказал:

– Ты успокойся, Венька.

– Нет, я не могу теперь успокоиться! – задрожал он еще сильнее. – Я в холуях сроду не был! И никогда не стану холуем! Никогда!..

Мне было так тяжко смотреть на него. В растерянности я снова отпил пива. Я, кажется, даже не отпил, а только наклонился и прикоснулся губами к полному до краев стакану, боясь расплескать. И вдруг услышал, как кто-то подле меня коротко вскрикнул и захрипел.

Я поднял глаза.

У Веньки из виска била толстая струя крови.

Выстрела я не слышал. Я слышал только, как упал на дощатый пол тяжелый пистолет.

Венька отклонился в сторону и пополз со стула.

Со мной случилось что-то неладное. Я не бросился к товарищу, а стал торопливо допивать оставшееся в стакане пиво, будто боялся, что кто-то у меня отберет стакан.

Вокруг нас мгновенно собралась плотной стеной толпа. Я вынул из петельки спрятанный сзади под гимнастеркой пистолет и пошел на толпу, расчищая себе путь к телефону.

Я кричал что-то, но крика своего не слышал, как во сне. Зато помню все, что я сказал в трубку. Я сказал:

– Товарищ начальник, ваш помощник по секретно-оперативной части Малышев умер. Сейчас в саду. Я звоню из сада.

Но не помню, что мне ответил начальник, так же как не помню, что я делал, отойдя от телефона.

Я помню только, что начальник, приехав в ресторан, схватил меня за руку, в которой был зажат кольт, вырвал его и сказал почему-то шепотом:

– Нашли, сопляки, место, где стреляться!

И этот шепот дошел до моего сознания. Помню, что первое чувство, очень ясное, испытанное мною в тот момент, было не жалость, не сожаление, а стыд, что все это произошло в таком месте. У Долгушина,

которого мы презирали. А мы – комсомольцы!

Затем я удивился, увидев в дверях Венькины ноги в неестественном положении. Обутые в сапоги, они болтались на весу.

И только затем я совершенно ясно понял, что Веньки больше нет.

Начальник посадил меня в свою пролетку. И сидел со мной рядом, говоря:

– Глупость есть самая дорогая вещь на свете. Я, кажется, не раз вам на это указывал…

23

В полдень я принимал дела покойного старшего помощника начальника по секретно-оперативной части товарища Вениамина Малышева. Венька лежал уже в гробу в клубе. Начальник не разрешил мне идти туда.

Я принимал дела, рылся в чужом столе, читал бумаги. Сознание мое все еще было затуманено, как после болезни.

Первой мне попалась опись вещественных доказательств, в которой было написано:

«1. Сыромятные ремешки-ушивки, имеющие большую прочность и свойство крепости при завязывании узла.

2. Охотничье ружье марки «геха», обладающее свойством поражать большую площадь рассеиванием картечи при выстреле.

3. Американской системы винтовка марки «винчестер», замечательная большой дальнобойностью».

Мне вспомнились минувшая зима, поездка на аэросанях, ночная прогулка на лыжах по Воеводскому углу, мокрая, холодная весна, встретившая нас в Дударях, первые летние пожары в тайге и любовное письмо, которое всю ночь писал Венька.

Все это было совсем недавно. Но мне казалось теперь, что это было очень давно.

Бумаги эти, исписанные моим и Венькиным почерком, начинали как будто желтеть. Я старательно перебирал их, разыскивая что-то самое главное.

В это время в комнату, не постучав, ввалился Васька Царицын. Он не говорил, а кричал:

– Ты знаешь, как это получилось? Оказывается, Венька все-таки был влюблен в нее. А она осрамила его на весь город! А он взял и застрелился. Как идиот…

Я сказал, как мог, спокойно:

– Выйди, Васька, сейчас же из помещения. Или я…

Васька понял меня и ушел сейчас же.

А я вылез из-за стола и отправился в кабинет начальника доложить, что в бумагах покойного ничего существенного не найдено, что могло бы непосредственно указать на причину его смерти.

Я вошел в кабинет без разрешения. Как входил Венька Малышев. Как

имеет право входить исполняющий обязанности старшего помощника начальника. Я имел теперь такое право.

Но начальник вскочил из-за стола и закричал:

– Кто позволил входить без стука?

– Простите, – сказал я, обиженный, и повернулся, чтобы уйти.

Однако начальник задержал меня. И тут я увидел, что очки его запотели, бобрик, всегда аккуратно причесанный, будто вымок и растрепался, и лицо, чисто выбритое, гладкое, чуть помялось и покрылось багровыми пятнами.

Я понял, почему он закричал на меня, и опустил глаза, чтобы не смотреть на него.

Но он снова сел за стол, хлопнул ладонью по столу и сказал:

– А?

Я хотел уже приступить к докладу. Но начальник не дал мне открыть рот и, опять хлопнув ладонью по столу, сказал:

– Какого парня потеряли! А? – И взглянул в свою открытую ладонь, как в зеркало. – Какого парня…

Я тихонько вздохнул. И начальник как-то печально крякнул.

– Если бы его можно было оживить! – сказал он тоскливо. И вдруг скулы у него зашевелились, что всегда предвещало грозу. – Я бы дал ему десять суток ареста. Пусть бы он подумал, сукин сын, как жить на свете, как вести дела!.. В публичном месте вдруг позволить себе такое…

Мне хотелось сказать начальнику, что он сам некоторым образом повинен в смерти своего помощника. Может, больше всех повинен. Но я не решился сказать ему это в глаза.

Это сказал Коля Соловьев. Он сказал это при особых обстоятельствах, когда начальник вызвал его, как вызывал по очереди всех сотрудников, чтобы установить причину самоубийства Малышева.

Прежде всего начальник спросил, не знает ли Соловьев девчонку, с которой путался Вениамин Малышев.

– Знаю, – подтвердил Коля. – Но он не путался с ней, а хотел, говорят, нормально жениться…

– А что это за особа?

– Она не особа, – возразил Коля, убежденный, что «особами» называются только классово чуждые элементы, – она комсомолка и работает кассиршей в бывшем махоткинском магазине…

– Так, так, – постучал искалеченными пальцами по столу начальник. Стало быть, ты ничего существенного не знаешь? Ну, иди…

– Существенного ничего не знаю, – сказал Коля». – Но на вас он перед

смертью сильно обижался, товарищ начальник.

– Это почему же?

– Он так считал, что вы вроде хотите аферу сделать с этим Лазарем Баукиным…

– Аферу?

– Ну да. Будто вы так хотите объявить, что это мы поймали Воронцова и Баукина…

– А ты как полагаешь, кто их поймал? Сами, что ли, они поймались?

– Я тоже так полагаю, что это может получиться с нашей стороны вроде как афера…

– Стало быть, я, по-твоему, аферист? – грозно взъерошился начальник и пошевелил скулами.

– Не аферист, но…

Начальник не дал Коле договорить. Он приказал ему сейчас же сдать оружие и стукнул уже всей ладонью по столу:

– Положи его вот сюда. И на десять суток я тебя отстраняю от выполнения всяких обязанностей. А потом поглядим…

Весть о таком распоряжении начальника в одну минуту, как говорится, облетела наше учреждение.

У меня в комнате собрались почти все наши комсомольцы, да и было-то их в ту пору в нашем учреждении всего пять человек. После смерти Вениамина Малышева осталось четверо.

Коля Соловьев подробно, во всех деталях, рассказал о своем разговоре с начальником и заявил, что он, Соловьев, это дело так не оставит, что он сегодня же, вот сейчас, пойдет в уком комсомола к Зурикову. И даже, если надо, до укома партии дойдет, до самого Желобова. Пусть начальник не думает, что он тут царь и бог и выше его будто никого на свете нет…

– Глупо, – воззрился в Колю Соловьева черными горячими глазами Иосиф Голубчик. – Если бы я был начальником и ты бы сказал на меня, что я чуть ли не аферист, я бы не только отстранил, я посадил бы тебя как цуцика! Ты если не понимаешь политических вопросов, то лучше спроси…

И Голубчик стал объяснять, почему начальник хочет оформить это дело так, будто не Лазарь Баукин поймал Воронцова, а мы поймали их всех. Начальник заботится сейчас не о том, чтобы самому прославиться. Это было бы мелко и гадко. Он хочет поднять в глазах населения авторитет уголовного розыска. А это уже вопрос политический.

– Ведь вы подумайте, как было, – показал нам Голубчик свои длинные, поросшие черными волосами пальцы и загнул мизинец, – Воронцова мы ловили не один год и не могли поймать. В народе уже стали поговаривать,

что мы какие-то дармоеды. А мы ведь не от себя работаем. Если ругают нас, это значит: ругают Советскую власть. На это нам много раз указывал начальник. И вот сейчас он стремится поднять наш авторитет, а это значит, он стремится поднять авторитет Советской власти…

– Это ж ты контрреволюцию говоришь, – вдруг заметил нервный, суетливый Петя Бегунок. – Что она, такая несчастная, что ли, Советская власть, что ее надо сильно подкрашивать и малевать?

Петя Бегунок меня больше всех удивил. Я считал, что он, как и Голубчик, на самом лучшем счету у начальника, что он только и способен повторять его слова и все действия. Он даже стрижется, как шутили у нас, «под начальника», тоже завел себе этакий бобрик – вся голова наголо острижена, а на лбу колючий хохолок. И все-таки у него, оказывается, есть собственное мнение.

– Обман всегда считается обманом! – закричал он. – А Советская власть без обмана проживет. Ей обман не нужен: Это, может, только тебе нужен обман…

– Ты закройся! – презрительно поглядел на него Иосиф Голубчик. – Тебя вызовут тридцать второго. И ты мне контрреволюцию не пришивай. И не бери на испуг. Тот, кто брал меня на испуг, давно на кладбище, а тот, кто собирается, еще не родился.

Иосиф Голубчик говорил как всегда напористо и сердито. Но я заметил, что слова Пети Бегунка все-таки смутили его. Я подумал, что Голубчик, бывший гимназист, у которого родители имели до революции собственную торговлю, оттого и старается показать себя самым идейным, что боится, как бы ему не вспомнили, кто он такой.

Однако я молчал. Я молчал до тех пор, пока Голубчик в запале этого спора не сказал, что Венька Малышев поступил как трус.

Уж тут я воспламенился. Кто-кто, а Венька, я это твердо знаю, никогда не был трусом.

– Ты Веньку лучше не затрагивай, – сказал я Голубчику. – Ты лучше иди обратно доучиваться в свою гимназию или в магазин твоих родителей, а Веньку не затрагивай. Венька всю свою молодую жизнь боролся за правду. Он был против всякого обмана и боролся только за правду…

– Видели мы, до чего он доборолся, – скривил гримасу Голубчик и, заметно смущенный, стал закуривать, не ответив как следует на мои слова.

Я был уверен, что Петя Бегунок и Коля Соловьев сию минуту поддержат меня. Я знал, что они не любят Голубчика, как не любил его и Венька. Но они молчали.

Потом Коля, глядя не на нас, а куда-то в сторону, сказал:

– О Веньке сейчас разговаривать нечего. Я Веньку тоже не оправдываю. И не хочу, не могу оправдывать…

– Но факт остается фактом, что он боролся за правду и против всякого обмана, – опять сказал я.

– Факт остается фактом, – тихо заметил Петя Бегунок, будто не хотел разглашать этого факта, и оглянулся по сторонам. – Мне Малышев давал рекомендацию в комсомол. Я его всегда уважал. Но сейчас даже беспартийные у нас тут говорят, что он нас всех осрамил…

– Это верно, – подтвердил Коля Соловьев. – Уж если бороться за правду, так надо бороться. А то выходит, как это самое… как дезертирство…

Получилось так, что ребята поддержали не меня, а Иосифа Голубчика, которого они действительно не любили.

Истинная причина самоубийства Вениамина Малышева так и осталась неизвестной жителям города. Да я и сам до сих пор не могу ее в точности определить, или, как модно теперь выражаться, – сформулировать. Я думаю только, что тут была не одна причина. А в городе называли одну.

В конце дня, когда я собирался домой, в комнату ко мне зашел наш делопроизводитель Витя и сказал, что в дежурке, меня спрашивает какая-то… какая-то дамочка, ухмыльнулся он.

В дежурке у запыленного окна стояла спиной к дверям Юлия Мальцева. Я не сразу подошел к ней. Я даже не хотел подходить, остановился в дверях. Но она оглянулась под пристальным моим взглядом и бросилась ко мне.

– Что же это? – сказала она. И больше ничего не сказала.

На нас смотрели дежурный и обычные наши посетители: две торговки, задержанные за спекуляцию, инвалид, ограбленный в пьяном виде и еще не протрезвившийся, мальчишка – карманный вор.

На глазах у этих людей мне было неловко разговаривать с Юлей. Я повел ее в коридор.

– Подожди здесь, – сказал я ей довольно строго и пошел в свою комнату прибрать бумаги.

Я укладывал бумаги в шкаф и в стол и все время старался сообразить, как же мне следует вести себя с ней, если я знаю, что она была одной из причин гибели Веньки. Пусть невольно, бессознательно, но она содействовала его гибели. И зачем она пришла сейчас? Как хватило у нее нахальства?

Я надеялся, что она, может быть, уйдет, пока я укладываю бумаги, и

мне не придется объясняться с ней. Мне не хотелось объясняться. Мне противно было смотреть на нее. Лучше бы она пошла к своему Узелкову. Ну ее к дьяволу!.. Еще не хватало мне, чтобы тут начался разговор о каких-то моих шашнях с ней! Пусть она лучше уйдет.

Но она не уходила. Я слышал, как ходит она по каменным плитам коридора недалеко от двери. Вот сейчас выйдет из своего кабинета начальник. Ведь он еще, кажется, не ушел. Я все время ждал, когда он поедет обедать, чтобы и самому уйти вслед за ним. Вот сейчас он выйдет, увидит ее в коридоре и спросит, что это за девушка, зачем она сюда пришла. В самом деле, зачем она пришла? Что ей еще надо?

Уложив бумаги, я постоял у окна, посмотрел на улицу, хмурую в этот предвечерний час. И так, ничего не сообразив, вышел из комнаты и стал запирать дверь. Я только думал о том, что лучше всего именно сейчас увести Юлю отсюда, пока не вышел начальник. Лучше всего поскорее увести ее…

Однако я не успел этого сделать. Начальник вышел из кабинета раньше, чем я запер дверь.

– Ты уходишь? – спросил он.

– Хотел пойти пообедать…

– Пообедай и сейчас же возвращайся. Будешь нужен. Через час.

– Слушаю, – сказал я, ожидая с тревогой, что он спросит о девушке, стоящей в коридоре. И я не знал, как ему ответить, кто эта девушка. Разве можно так прямо ответить, что это та самая девушка, из-за которой…

Но начальник даже не взглянул на Юлю, прошел мимо. А Юля подошла ко мне.

– Извини меня, – сказала она, – но я вижу, что ты…

Я не дал ей договорить.

– Давай выйдем отсюда, – почти подтолкнул я ее, – на улице поговорим.

На улице было ветрено и одиноко. Где-то вдалеке простучали по неровной мостовой колеса пролетки нашего начальника, уехавшего обедать.

– Извини меня, – опять сказала Юля, собиравшаяся, должно быть, еще что-то сказать.

Но я опять перебил ее:

– Поздно теперь извиняться. Поздно и ни к чему. Мне твои извинения не нужны. Мне наплевать на твои извинения. И тебе незачем было приходить ко мне…

– Я хотела только сказать…

– Мне неинтересно, что ты хотела. Я знаю, что ты сделала, когда передала это письмо своему паршивому Узелкову…

– Я не передавала, – взяла меня за руку Юля. – Я клянусь тебе, что не передавала!.. – И заплакала. – Я клянусь! Я проклинаю себя!..

– Ты не плачь. Теперь поздно плакать. Все-таки письмо оказалось в руках Узелкова, и он ударил Веньку этим письмом по самому сердцу…

Юля заплакала сильнее и все крепче стала сдавливать мою руку, как бы требуя, чтобы я замолчал.

Из несвязных ее объяснений, прерываемых плачем, я понял, что письмо попало к Узелкову случайно. Оно лежало в книге «Огонь любви», взятой у Узелкова. Узелков пришел за книгой, когда Юли не было дома, и хозяйка отдала книгу вместе с письмом.

– А я рассердилась на Малышева, – сквозь слезы проговорила Юля. – Я не ожидала, что он напишет мне такое письмо.

– Узелков сделал подлость, а ты рассердилась на Малышева, – сказал я. Как же это понять?

– Я рассердилась на Малышева за то, что… Ну неужели он, такой умный, честный, не мог понять? Ты ведь знаешь, что было написано в его письме…

– Я все знаю. Он откровенно признался тебе…

– А зачем? Зачем надо было признаваться? Неужели он думал, что я какая-то мещанка. Неужели он не понимал? Я хотела встретиться с ним, я ждала…

Мы проходили мимо клуба имени Парижской коммуны, где лежал в гробу Венька Малышев. Я боялся, что Юля, вот такая, заплаканная, захочет сейчас войти в клуб. Но она сама сказала:

– Нет. Я не могу. Я не хочу смотреть на него… мертвого. Я не хочу, чтобы он умирал!..

Мы прошли мимо клуба, свернули в переулок, пересекли площадь и оказались на улице Пламя революции.

Около ворот нашего дома мы остановились.

– Можно, – спросила Юля, – можно я зайду к вам?

Не «к тебе», а именно «к вам» сказала она, будто Венька Малышев все еще жил в этом доме.

Она посидела в нашей комнате минуты две, посмотрела на узенькую Венькину кровать, застланную серым солдатским одеялом, на его деревянный обшарпанный сундучок, видневшийся из-под кровати, потрогала, потом взбила его подушку и ушла, сказав:

– На похороны я не пойду. Я не могу. Я не хочу идти на похороны.

Хоронили Малышева в ненастный день.

Накрапывал нудный предосенний дождь. Но казалось, все население города вышло на самую большую улицу – на проспект Коммунизма.

Всем интересно было поглядеть, как хоронят комсомольца, застрелившегося из-за любви.

Впереди шагал духовой оркестр. За ним шли лучшие лошади из конного резерва милиции, запряженные в беговые дрожки, на которых возвышался гроб.

А за гробом следовало наше строгое учреждение почти в полном составе.

И обыватели, точно артистов, рассматривали нас.

Но мы шли, опустив головы, как и полагается на похоронах.

Рядом со мной шел Васька Царицын. Он смотрел себе под ноги и тихонько вздыхал. Потрясенному всем происходящим, мне пришла в голову нелепая мысль, будто Васька вздыхает потому, что ему жалко сапог, надетых сегодня в первый раз и уже до колен вымазанных в этой непролазной грязи.

Мне захотелось столкнуть его в грязь, чтобы он вымазал не только сапоги, но и новенький френч, и удивительно красивую высокую фуражку с аккуратными ровными вмятинами над околышем.

Нет, такого дружка, как Венька, мне больше никогда не встретить!

Процессия шла вдоль зеленых решеток городского сада.

В этом саду мы гуляли с Венькой. Здесь он познакомился с Юлей Мальцевой. Здесь он и застрелился.

Я поднял голову и посмотрел на ворота с резными петухами. И вдруг увидел у калитки Долгушина.

В эту минуту Долгушин поразил меня, как удар. Я ведь почти забыл о нем в эти дни. И вот он стоит у калитки сада и смотрит, как мы хороним нашего товарища, застрелившегося, как все думают, из-за любви.

Гимназисты стрелялись, юнкера стрелялись, барышни какие-то травились уксусной эссенцией.

Все это было. Но мы же говорили, что это старый мир, а мы – комсомольцы.

Я оглянулся на Долгушина. Он уже отошел от калитки и направился по тротуару – за нами.

Васька Царицын тихонько потрогал меня за рукав и сказал, кивнув на гроб:

– Уж лучше бы его убили бандиты.

Должно быть, он догадался, о чем я думаю. И это примирило меня с ним.

Дождь прекратился. Показалось солнце. Кладбищенские деревья сбрасывали на нас крупные дождевые капли.

Мы пробивались меж деревьев в центр кладбища, где была вырыта новая могила. И за нами неотступно шли горожане, многие из которых еще недружественно относились к нам под влиянием, как мы считали, враждебной агитации.

Их было больше, чем нас. Значительно больше. И когда мы окружили могилу, они стали за нами плотной стеной. Их томило любопытство. И они нетерпеливо дышали нам в затылки.

Может быть, среди них стоял и Долгушин. Может быть, это он и дышал мне в затылок. Но я не мог оглянуться.

Я вспомнил, как Венька любил говорить, что мы отвечаем за все, что было при нас. Нет, неверно, мы должны отвечать и за то, что будет после нас, если мы хотим быть настоящими коммунистами.

Венька Малышев лежал в гробу, чуть повернув голову, чтобы скрыть то место, в которое вошла пуля. Он лежал, как живой, крепко сжав губы, как делал всегда, обдумывая что-нибудь. В таких случаях, я помню, он закрывал глаза.

И я готов был поверить, что и сейчас он вдруг встанет, сердито посмотрит на всех и скажет, что это все ерунда, что он никогда не умирал и не умрет.

Я готов был поверить в самое невероятное в тот тяжкий час.

Но Венька не встает и не собирается вставать.

Вот уже разбирают доски, на которых держался гроб над могилой.

Я слышу, как стучит земля по крышке гроба.

Я долго иду среди пышных кладбищенских деревьев, среди буйно цветущих на хорошо удобренной земле цветов, среди памятников, старых и новых.

Земля вольготно дышит после дождя. И над землей подымается туман.

Я долго иду в тумане.

Вдруг впереди меня возникает, как видение, форменная фуражка нашего начальника. Она колышется в тумане среди ветвей кладбищенских деревьев, высокая, с острыми краями, еще не обношенная. И тотчас же я слышу слова:

– Вы не совсем правы. Самоубийство при всех обстоятельствах не наш метод и, разумеется, не наш, не советский аргумент.

Но это говорит не начальник, а Узелков. Я сразу узнаю его голос. И вот

уже вижу его белую ворсистую кепку, мелькающую в кустах, – много ниже фуражки начальника, потому что и сам Узелков ниже.

– Безответственность – это, учтите, самый серьезный порок, – как бы внушает Узелков начальнику.

А начальник глубокомысленно сопит.

Ему, наверно, искренне жаль Веньку. Но он не в состоянии понять, как это его подчиненный вдруг может в чем-то не согласиться с ним. Есть же твердые, давно определенные правила, по которым положено начальнику приказывать, а подчиненному выполнять приказания. И начальник не может быть не прав, потому что он действует в соответствии с единым планом, в конечной пользе которого никто не станет сомневаться.

– Таким образом, в основе этого печального факта лежит грубая политическая ошибка, я бы даже сказал, политическая бестактность. И это мы не можем простить Малышеву. Мы обязаны смотреть правде в глаза. Вы согласны со мной?

Это спрашивает Узелков начальника.

А начальник что-то такое бурчит, чего я не могу расслышать. Он, должно быть, все еще не пришел в себя, все еще тягчайшее огорчение томит его. Но едва ли он в чем-нибудь возразит Узелкову.

Ведь Узелков говорит правильные слова. И говорит их от имени высшей силы, произнося могучее слово «мы». Он давно уже присвоил себе это право говорить от имени высшей силы. И никто не усомнится в этом его праве, так же как никто не заподозрит его в содействии самоубийству Малышева, потому что ни один прокурор не найдет в его поступке того, что на языке криминалистов называется составом преступления.

Ведь он же ничего явно преступного не совершил. Он только прочитал чужое распечатанное письмо, случайно оказавшееся в его собственной книге. Неужели такой мелочной факт мог привести к столь печальным последствиям? Неужели такого сильного, уверенного в себе человека, как Венька Малышев, мог доконать такой тщедушный деятель, как Узелков?

И вот Узелков идет за пределами кладбища рядом с нашим начальником и, преисполненный чувства собственного достоинства и собственной непогрешимости, произносит торжественные слова о мужестве и правде и советует бесстрашно смотреть правде в глаза.

А по раскисшей земле мягко стелется теплый туман, в котором отчего-то знобит меня, и я все время думаю о Веньке, о том, что, если бы ему привелось сейчас увидеть Узелкова, он, может быть, и сам бы не простил себе этой минутной слабости.

После этого прошло много лет. Я многое забыл из того далекого

времени, о котором шла здесь речь.

Я забыл, наверное, даже некоторые важные подробности.

Но запомнилось мне особенно крепко, как на кладбище дышали нам в затылки любопытные горожане, обыватели уездного города, где мы были первыми комсомольцами, и как бодро шел после похорон Узелков.

Каждый раз, вспоминая это, я заново испытываю все ощущения того ненастного, печального дня. И чувство скорби, гнева и сожаления до сих пор не ослабевает во мне.

Переделкино,
октябрь 1956 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

---

notes

Примечания

1

Жиганы– в данном случае бандиты *(Примечание автора)*